

Светлана Леонтьева

Красная Книга правды

16+

Светлана Геннадьевна Леонтьева

Красная Книга правды

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64458066

SelfPub; 2021

Аннотация

Повесть-опровержение, повесть-исцеляющая. Как стать прежней. Излечиться. Как излечить мир от ревности, зависти, от соперничества, как научить любить себя мир окружающий. Повесть о детстве. Из детства. Маленькая девочка провалилась в снег, пытаясь завладеть игрушкой, и вся жизнь до самой её старости предстала перед ней, пока её откапывали испуганные родители. Мы все совершаем ошибки, но умеем ли мы их исправлять? И как помочь другому человеку, который решил, что его обидели. Хотя его никто не старался обидеть. Тем более, ребёнок, провалившийся в сугроб.

Светлана Леонтьева

Красная Книга правды

Пришло время рассказать, как всё было на самом деле. Решила просто поменять имена. Но все совпадения не случайны. И правдивы. Это тот случай, когда сказка – не ложь, когда сказка – не намёк. Когда сказка – быль. Если что-то прозвучит неверно, то это благодаря эмоциональному окрасу и ярчайшей солнечной дрёме. А также запёкшейся крови в области сердца. Этот ледяной комок не исчезает, не уменьшается. Он становится частью моего тела.

1.

Я бегу вниз с горы. Родители остались наверху, они мне машут руками отчаянно и радостно. Наверно, это игра потому, что внизу река, мне надо добежать, остановится там, где скользкий валун, за ним спрятан подарок. Я бегу и бегу себе. Вдруг сзади или откуда-то сбоку лавиной струится поток снега, он догоняет меня, опережает, скользит к валуну, выхватывает мой подарок. Снега так много скатилось с горы, что сначала он наслаивается на протоптанную дорожку, я не могу вырваться, чтобы догнать исчезающий блестящий, новогодний подарок. Затем вязну по пояс. И оставшаяся лавина накрывает меня с головой. Рукой пошевелить, чтобы

отряхнуть плотный слой снега с лица, у меня не получилось. Рот не открывался. Я не могла даже крикнуть. Воздух закончился. Я перестала дышать.

– Снегурочка, Снегурочка! – кричали дети.

– Скорее, скорее! – плакала мама. – Копай вот здесь, Геночка, Генаша, любимый муж мой.

– Ноннушка, помогай!

– Здесь слишком большая глыба, не успеем... надо милицию вызвать...

Генаша – это мой отец. Ноннушка – моя мама. А ещё у меня есть старшая сестра Альбина. Но её впоследствии бросил муж, она примкнула к Кришнаитам и уехала в Индию.

Я стал частью снежной горы. Снега было по колено, по пояс. Снег накрыл мою голову. Он вошёл во все мои поры, в веснушки, в родинки, в волоски, во всю мою жизнь, в мою пищу, питьё. Он стал мне вместо кровати, вместо любимых книг, вместо кота, вместо игрушек.

– Ну, копай же, копай...

Приехала милиция. Точнее два молоденьких сержанта, но у них не было лопат, они рыли снег руками. Затем подоспел какой-то седой мужчина, у него была деревянная лопата, но снег спёкся на солнце и не поддавался.

Говорят, что погребенного под снегом надо достать в первые четыре минуты. Иначе бесполезно. Потому что я стала тряпичной куклой, у меня не двигались ни ноги, ни руки, не держалась голова, на слабом позвоночнике болтался тря-

пичный ребёнок. Мне было тогда три с половиной года.

Может быть, меня не достали тогда из-под снега, и всё, что я говорю теперь лишь сон? Дивная длинная сказка?

Во-первых, я не знаю, сколько мне лет. В паспорте написана одна дата, а в справке о рождении иная. Говорят, у меня ещё были сестра и брат. Но они не родились. Мама прервала беременность. Вся эта книга на самом деле лишь то, как извлекали меня из-под завала. И ещё о том, как я несколько раз оказывалась под такими же завалами. Житейскими сугробами. Ливнями. Знобьящими эпизодами.

2.

ЗАВАЛЕННАЯ, УКУШЕННАЯ И ЗАИКАЮЩАЯСЯ

Когда мне было пять лет, меня клюнул в колено петух. Нет, не простой белый, горластый, требующий радостного восклицания – ну, и голос! Это был рыже-коричневый с красной бородкой, жирный, как поросёнок, с розовыми лапами и чёрным хвостом – Петруха. Пишу, и сердце замирает, чуть ли не останавливается: это был царь-петух, королевич, Симаргл! Языческий, павлиний, гордый. Коленка у меня щуплая, пупырчатая. Она совсем не годится для укуса, проклёвывания, для нападения. Даже тощий кот Кеша ни разу не царапнул эту жидкую острую косточку мою. Кому она вообще сдалась? Ни вида, ни намёка на радость. Колени у меня всегда были в болячках, в царапинах, в синяках. Прыгалка, отчаянная драчунья, худая, костистая, вечно дерущая

яся с мальчишками во дворе, отстаивающая свои права, прыгающая по крышам сараев, лазающая по деревьям. Особенно меня привлекали берёзы. Точнее их детёныши. Вот залезешь на такую, упираясь разодранными коленями в сучки веток, схватишься за верхние ветки, аж дух захватывает! Берёза гибко склонится, ствол её сгибается, и ты опускаешься вниз на землю. Юбочка парит, как парашют. Летим! Затем снова взбираешься и опять – хоп – вниз. И так по десять, а то и по пятнадцать раз. Крайнюю берёзку звали Тиса. За ней, кривоватую, Верка. Играть с берёзами я любила. Они мне как подружки были. А ещё со звездами я играла, которые в лужице отражались. Я их всех по именам знала. И у меня была такая красная книга, куда я вписывала их.

Это и есть Красная книга моей правды.

Петух выскочил сам на улицу, по который мы шли. Нас было трое старшая сестра Алька-Альбина, я – меня Алька дразнила Потей и, кажется, Ольга, соседка с третьего этажа. Жили мы в Красноуральске на улице Чапаева. Дом 35. Квартира 14.

Было не больно. Но обидно. И я ревела так громко, что выбежали соседи, стали совать мне конфеты в руки, леденцы какие-то, петушки опять-таки. Я как увидела одного петушка на палочке – рыжего, толстого, ещё больше завопила. Но лакомство взяла и сунула в карман платья.

С тех пор я стала заикаться.

Поэтому, когда читаю со сцены отрывки из своих книг,

то выпеваю их, иначе язык заплетается, звуки склеиваются и получается вместо: «Невозможно родной, незабываемый мой,

о хотя бы коснуться рукой, о хотя бы погладить ключицу!
Так волнующий, обжигающий до спазм в гортани, до войн,

до бомбёжки, где окна навывлет. О, где б схорониться!»
но вместо гладкого диалога люди слышат: «Н-н-невозм-м-м-можно...р-р-родн-н-ной»

Вообще, этот эпилог на самом деле ничем не заканчивается. Никакими такими любовными вздыханиями.

Я уже рассказывала, как в грязной луже выловила книгу. Случайно. Вот совсем недавно, как раз снег начал таять. Увидела в Ржавке кучу плавающих, кем-то выброшенных книг, и стала вылавливать. Кое-какие книги удалось спасти, принести домой и высушить на батарее. И даже прочесть. Страницы склеились, осклизли, разорвались. Но на клочках я прочла такое, что даже дух захватило. Словно я попять под сугробом и слышу:

- Снегурочка, Снегурочка! – кричат дети.
- Скорее, скорее! – плачет мама. – Копай вот здесь, Геночка, Генаша, любимый муж мой.
- Ноннушка, помогай!
- Здесь слишком большая глыба, не успеем...надо милицию вызвать...

Действительно, милицию!

Вот бы вызвать! Подь сюда, да найди обидчицу! Чегой-то она пишет, глянь. Дура!

Лист был желтоватый, гнилой:

...камень берёзовый. Их, эти камни, называют березняк. Она Этасвета, берёзки любит, так вот, березняк с крупинками золота, с вкраплениями жёлтыми, смородиново синими, откуда он у неё в сумочке – она не помнит. Видимо, какой-то поклонник подарил. За её красоту чёртову. Она ж красивая! Хоть салон «Крыса-ты» открывай! И её фото на баннер выставляй. Лучше бы вправду в салоне работала, чем в искусство лезть – лапотница! Официантка! Кухарка! Видимо, руки чесались, вот она карандаш и взяла с бумагой. И давай чесать ладони свои о рифмы, о строчки, о буквы! До волдырей! Заика чёртова! Наверно, прославиться хотела! Да слава у неё не та! С дымком! С дыркой! Что её вирши? Что? Не сравнить с моими. Я. Я. Я одна должна быть. И имя моё Ольга. Точнее, Милена. А ещё точнее бла-бла. Ой, что это? Я тоже начала заикаться, как Этасвета. Итак, про любовь. Что это такое, ей ли знать? Эти ласки мужские... когда он пальцами по коже гладит. По чулочкам. По коленям. Затем выше и выше его ладонь, до трусов тянется, затем пальцем в трусы, отгибая кружева... А что у Этосветы? Кувырк-кувырк, мужик швырк. Ей главное кто? Дети! ненормальная! Я вот своего сына спихнула в Мексику к одной богатой старухе. Точнее даме. А ему-то всего восемнадцать лет. Ну, и пусть, учится. Сначала со старухой, затем молодую найдёт.

Жигало-сынок мой. Дима! Ага, камень берёзовый...кто ей его подарил? Сейчас подумаю! Вот-вот, нашла, нащупала. У неё, есть вирши вот такие:

...Во снах не разыщешь подвалов, все закончились лазы и чердаки,

все разрушены крепости, все проданы в рабство чудные самаритянки!

Все вишнёвые косточки сгрызены, орешки кедровые, позвонки

служаны. Нет покрывал, крыш, бомбоубежищ. Остались подранки:

чувство обиды – в крыло. Чувство потери – навывлет. Страсть

вообще в голову ранена. Мозг – кровавое месиво.

Сердце давно моё стало тем самым факелом в масть,

а оно первоначально так много, так афродитово весило!

Если бы ты изъял из меня хоть каплю тоски, что тебе стоит слизнуть губами заледенелую слёзку?

Вот пойду сегодня в кафе. Чай, бульон, пирожки.

Вот пойду сегодня – напьюсь в доску.

И смазливый бармен, то ли Гиви, Варган ли, Иван подносить будет содовой, сок и, конечно, лимонные дольки!

Раскромсал ты мне мир на кусочки, на сдвиг, океан, на Шекспира, на Данте, Вийона. Как Горький: обучение ранам онлайн. На империю зла.

А ещё на добро, серебро, на алмазные правды.
Как поеду обратно? Кафе закрывается. Как за козла
я отвечу? А Гиви, Варган ли, Иван проводить меня рад
был!

Он такой молодой. Я старуха. Но в самом соку.
Он откроет мне дверь. Он поможет мне вжаться в сиденье.
Но тебя слишком много во мне. Я тебя берегу.
Я тебя не отдам ни кому, ни за что на съеденье!
Я прошу проводить. И не трогать меня. Как же взрыв
можно гладить, любить? Под водой корабли, субмарины.
А во мне не овалы, не луны, а просто углы.

Плакал Гиви повинно.

Я ему объясняла, что я половина того Байтерек,
что по-тюркски огромное дерево – корни и крона.
Что никто для меня не умён, ни смазлив, не из мекк,
что никто для меня не законный супруг. Он – законный!
После ехала пьяная. Где же ты, где ДПС?

Объезжая сугробы, препятствия, казни, Париж, гильоти-
ны.

А тебя просто нет. Ты – фантазии плод. Больше нет, чем
ты есть.

Мой любимый!

И вот я – великая, я Милена Бла решила в отместку пе-
ределать эти её вирши-рифмы-ритмы. И вот, что у меня вы-
шло! Шедевр!

«... гулять так гулять. Ресторан так себе. Забегаловка.

Шашлычная. Вина много. Лыхны, Эшера, Чегем, абхазское сухое красное вино, Апсны, вино Псоу, пей сколько хочешь. Сухими пальцами Этасвета тыкала в тарелку, нащупывая лимонную дольку. Весь мир был порезан на дольки. Гиви, Иван...какая разница... всё равно...он еды принёс. Никто меня не бросил. Это я сама ушла. Точнее не ушла ещё. А решила: уйду. Но не ушла. Гиви – какой он? От него пахнет сигаретами и одеколоном. Запах волшебный. Запах страсти. Огня. Радости. Гиви воспылал сразу. С одного щелчка. Этасвета улыбалась. Пила и не пьянела. Танцевала. Кружилась. Тело бойкое. Ноги красивые, в туфлях, бёдра качаются плавно, грудь колыхается, пружинит. Гиви что-то шепчет на ухо:

– Денег дам. Много. Пачку. Мешок. Кольцо подарю. Финики привезу. А весной рассаду для цветов...э...э...э...

– Рассаду! – Этасвета усмехнулась. – Любовь в обмен на рассаду. Даже не за цветы ещё. За корешки. За не отросшие белые, испачканные грязью комья.

– Ага...э...э...э...

– Так я замужем! Муж сейчас приедет сюда. Ты ему рассаду-то отдай!

– Пошли, пока муж не приехал. Тут комната есть внизу, апартаменты называется...

– Нет. Гиви. Нет. Иван. Нет.

И сама танцует. Бёдра колыхнутся. Грудь вверх-вниз подсакивает. Как два мяча. Круглые горячие.

Гиви не выдержал: из фартука деньги вывалил на стойку

бара: бери, бери! Моя будешь. Женюсь!

– Так мне уже глубоко за сорок! – Этасвета берёт чашку в руки, ладонью охватывает её всю. Лишь мизинчик оттопыривается. И губами... губами прикладывается к краям чашки. Пьёт. Пьёт так, что горло шевелится. Кожа гладкая, розовая. Гиви не выдерживает и целует её в шею.

– Ягодка! Малина! Кольцо подарю!

Денег было немного. Этасвета мысленно сосчитала сумму, получилось примерно тридцать-сорок тысяч. Плюс кольцо. Ага, простенькое, камушек хризопрасовый. По гороскопу Скорпиону не подойдёт.

– Где муж твой? Где? Я твой муж теперь. На эту ночь!

– Так не бывает. Муж или навсегда. Или нет.

Этасвета снова делает глоток. Чай крепкий с лимоном. Она не курит. Я не курю. Гиви не курит тоже...»

Вот это – чистейшая правда. Милена Бла! Другой правды у меня нет! Остальное всё вранье.

Петух ринулся в подворотню. Он сам напугался крика моего. Хотя, говорят, что петухи глухие.

А ещё я – укушенная. Да-да. В лесу. То ли волк. То ли собака серая. Родители оставили меня возле машины. Сами пошли в лес, наказав мне, никуда не уходить. Машина была открыта. Можно было сесть в любой момент в неё. Но мне захотелось погулять, я вообще кроме берёз ещё с цветами играла, разговаривала, они мне стихи рассказывали, я им –

про жизнь. И вдруг этот зверь появился неожиданно. Я не успела шмыгнуть в машину. Лишь попятилась. «Волга» была старая, бирюзового цвета, как сейчас помню, что я рванула дверцу, не поворачиваясь, спиной легла на сиденье. Зверь куснул меня за ногу. Опять в ту же самую кленку – острую, щуплую. Зубы были ровные, клыки торчали. Говорят, что звери летом не нападают. Он не напал, он лишь подавал знаки. Я взвыла.

С тех пор заикаться я стала меньше. Клин клином. То есть страх страхом вышибают. Вообще, из меня только что не пытались вышибить. Ни у кого ничего не получилось. Я подогнула колени. Прижала их к животу. Дверь как-то сама закрылась. Видимо, зверь повернулся боком в тесных зарослях высокой травы, махнул хвостом, не рассчитал, какое узкое пространство между его телом и моим. Оказавшись внутри салона, я взвыла ещё громче. Затем быстро нажала на пипку возле окна, заблокировав двери окончательно. Меня научил мой папа Гена этому простому движению.

Волк скрылся в чаще леса также быстро, как и появился.

Испуганные родители что-то кричали мне, успокаивали. Просили открыть заблокированные двери.

Читаю дальше, ну что ты мне припасла Милена Бла? Ах, вот что: «...она сбежала вниз по лестнице...отталкивая Гиви. Или Ивана. Он неё пахло сладко и ванильно. Во дворе ресторана была припаркована машина. Какой, интересно, марки Я не разбираюсь в них! Для меня все чёрные – Джипы.

Белые – Волги. Серые – Ока. А что у Этойсветы? Наверно, японец. Или немец? Как его Фольксваген? Гиви шёл следом. Он видел лишь этот покачивающийся силуэт. Эти бедра. Талию. Эти ноги в люрексе. Юбку. Нежную кожу. И грудь. Колышущуюся. Дышащую. словно отдельно от Этойсветы существующую. Вот бы погладить. Вдохнуть всю свежесть. Молочность. Боль всю! Не уходи! Не уходи! Или хотя бы телефон... номер телефона... черкни на салфетке...»

Слушай, Бла! Вот не было этого «курили до тошноты, любили до одури, имели друг друга до спазм горячих, до выплеска, до экстаза...»

И Гиви не было. И Ивана. Сказка это. Называется «художественное произведение». Ты же преподаешь. Лекции читаешь. Сама понимаешь, что никакой бешеной страсти, роковой любви, грешного прелюбодеяния у меня нет. Ну, вот так вышло, прости... Нетути!

3.

Я не верила. Гиви тоже не верил. Но муж пришёл на выручку. Тогда он ещё не был мужем. Но я понимала: он мой муж. Будущий. Нынешний. Настоящий. Истинный.

Бла-бла, о каких изменах моих ты пишешь на своих грязных, мокрых листах? Золотко моё, Солнце болотное, Небо кикиморное.

У меня есть муж единственный и на всю жизнь. Если услышит твои слова: «Этасвета изменяла, шла по лестни-

цам, спускалась вниз, поднималась в комнату, разрешала себя целовать, трогать, гладить, ласкать, наслаждаться, убажывать, сама раздвинула ноги, легла, обнажила ягодицы, сняла бельё, приняла берёзовый камень, надела перстень.» Да, он убьёт тебя, Милена Бла-бла!

И зачем я выловила эту книгу? Лучше бы она плавала в море других никому не нужных, не востребованных книг. Просто книг. Книг бумажных, виртуальных, литресовых, майбуковых, арт-прессовых, эксмушевских, еленшубинских и прочих, канувших в бездну, ещё неизданных, но уже невостребованных. Нет, не факт, что мои книги будут невероятно популярны, экранизированы, театральны, некие актёры примутся вычитывать их тексты, некие сценаристы начнут скопом писать по ним сценарии. Для этого нужны деньги. Много. Любую вещь можно вытащить на поверхность. Выхватить. Заставить сиять. Заставить любить. Принудить к всё поглощению. Отчего бы нет?

Мужа моего величают на работе по отчеству – Саныч. Кудрявый. С пролысинами. Курит, пьёт, ест. Он мой. И я никому его не отдам. И не позволю писать, что его жена – гадкая паскуда, гуляющая тварь. Тебе, Милена Бла, не понять. Другая ментальность что ли. Другая жизнь и другая смерть. Это не станцуешь. Не споешь. Для этого надо иметь другую фигуру, лицо. Маму. Школу. Всё другое. Даже день зачатия иной. Другая кровать, простыни, подушки, матрас, перина, рубашки. Всё иное. Кровь. Клетки мозга.

Пишешь, что ты одна. Ты невероятная.

Наверно, это так. Ты феномен. Кто же спорит? Столько наград. Столько почестей. Столько что глаза разбегаются. Трудно подсчитать. Вселенная сбилась со счёта. Ось земли пошатнулась. А что ещё остаётся делать – бедным, униженным, обиженным писателям? Сами, всё делают сами: сами себе пишут рецензии, сами себя хвалят, сами пробиваются в печать, спят с издателями, спонсорами, меценатами, дерутся между собой, разбираются с иными писателями, если те заходят случайно на их территорию. Как волки грызутся. Ревнуют. Соперничают. Сами зажигают камин. Сами в горящую избу. Сами сгорают. Воскресают. Умирают. Заставляют верить в себя. Сходят с ума. Снова возрождаются. Убивают себя. Убивают себе подобных. И рвутся! И карабкаются! Там, там на горе, лишь надо спуститься вниз для начала иуде, где валун за подарком. Но снежная лавина быстрее и тяжелее тряпичного тела твоего!

Трудно делить мир на писателей и не писателей. Сейчас все писатели. Маленькие и большие.

Раньше я с Миленой была в хороших отношениях.

Именно в хороших.

И именно в товарищеских. Мы понимали друг друга. Вот как-то нам удавалось не враждовать. Не соперничать. Не пересекаться.

Я, вообще, себя лет тридцать тому назад не считала впаивной, распятой, втянутой в этот алхимический процесс. Не

было у меня лунного камня. Серебра и олова. Не было атанора. Печи. И каких-то особых, превосходящих свойств. Но когда они свалились на меня сами, когда я научилась ловить потоки их занебесные, то ошалела. Истинно так. Это словно грызть мак марихунский. Выращивать его у себя на огороде. И это кружит голову. Ибо ты носишь в себе нечто живое. Одна поэтесса про меня написала: «Эй, ты – беременная стихами!» Но я тогда была ещё «слегка беременна». Меня осеяло строками. Пронзало! «Но сквозь меня протянуто пространство!» Это была настоящая марихуана. Зеленая, дурманящая.

Труд писателя – это настоящей труд. Неоплачиваемый. Гонимый. Неоценённый. Одна надежда – что дадут Буккера или Русскую премию. В коммерческие издательства пробиться трудно: там своя специфика. Помню, как пришла первый раз в «Аст», затем приползла в «Эксмо». В «Подвиг». В «Андреевский флаг». Помню эти скучные лица. Помню, как мне объясняли, что надо сначала получить известность. Либо найти спонсора. Помню, сочувствующие лица женщин. Кто-то даже хвалил. Кто-то оставался равнодушным. Помню, мужчин, которые откровенно приставали. Помню, своего первого спонсора. Это мой Саныч!

Помню, свою первую статью.

Правда, о том, что Москва – это Нижний Новгород. Часть

II

Красно-красная Москва. Кирпично-рыжая.

Красен Нижний Новгород.

Малиновый мой сон о них.

Красен кремль! Удивительно схожи пропорции! Московский кремль протяжённостью 2500 метров, Нижегородский 2080 метров, площадь обоих Кремлей 27,7 га. Высота над уровнем моря с Воробьёвых гор 80 метров, высота с Верхне-Волжской набережной тоже 80 метров. А ещё архитектура Речного вокзала, храма Александра Невского и храма Василия Блаженного, длина Старого Арбата и Большой Покровской улиц. Всё сходится! Близнецы!

Красный мой сон по-красному дереву! Красота моя красная! Царь-колокол и колокол соборный. Большой театр и театр оперы и балета. Чем больше смотрю, тем больше понимаю, что живу в Москве! Нет, я не за пенсионными добавками гонюсь, а за правдой. А, правда моя в том, что оба города войну отстояли, не покорились, выжили. И что Нижний Новгород послал в Москву Минина с Пожарским целым ополчением, что спас от разорения, от раздора, от завоевания, а уж как хотели ляхи потешиться, сладко поесть да и ограбить казну царскую.

А сон мой малиново-прекрасен. И длится, длится.

Но вот просыпаюсь от снов своих сладких. И понимаю, что нахожусь на поле боя. За вечную правду! И выхожу я из своего красно-красного, сладкого сна...И нахожу свой пост на фейсбуке:

Друзья, настало время поговорить о самом сокровенном,

о наших дедах, о нашей истории. Настало время – помнить!
Настало время всё, что помним, рассказать нашим детям,
внукам. История такая, как есть. Мир с цветом, запахом и
вкусом. Пока мы помним его цвет и вкус! Я расскажу о своём
дедушке, родившемся в 1906 году (Тюменская обл. с. Бердю-
жье). Расскажу потому, что моего сердца коснулось то, что
история искажается, переписывается, вымарывается.

Ничего не забыли? Иль всё же забыли чего-то?
Я напомним тогда. Освежу раз, наверное, в сотый
в вашей памяти: это война, нет святее которой.
И не вздумайте вы примирять и оправдывать свору
гитлерюг, что напали на нашу страну. Помни место:
алой кровью и болью защитников крепости Брестской!
Как язык повернулся, ровнять, что от века неровно,
словно скважину чёрную, словно бы беса с иконой.
Тех, кто погибнул и кто не сдавался. Ты видел их кости
от Москвы до Берлина? Их много костей на погосте!
Череп, позвончики каски и звезды героев!
Так гляди во все очи! В блокадные дни Ленинграда.
Слушай слухом убитых и воем в полях канонады.
Слушай пеплом сожжённых детей... А они жить хотели!
Свои ручки тянули, о, Господи, из колыбели.
– Мама, мама, родная. А мать их убитая в поле.
Я покуда жива. Вам напомним, всей болью напомним.
Имя Зоя, как небо. А вы про медали, про гранты.

Имя Зоя – сама, словно грант, словно купол высокий!
Вы забыли про это. Вам в мозг что ввести? Импланты?
Про какое вы там примиренье? Они – оккупанты,
что пришли нашу землю топтать, никаких аналогий:
про гулаг и концлагерь. Про «Гитлер и Сталин». Не надо.
Это разные вещи. Иные координаты.

Говорит либерал: «Ничего нам за это не будет.

Примири́м мы всех мёртвых. Ведь им всё равно там, в мо-
гиле!»

Я схватила такого бы да за пиджак там, где груди –
рвись, рубаха, летите вы пуговики в пыль и
никогда, ни за что! Никаких вам таких словоблудий.

Где всеобщий психолог, чтоб мозг излечить бы, изгибы,
извращенье истории и русофобские игры?

Чтобы наше святое не трогали пальцы кривые,
не совали в кровавые раны, не лезли бы в семьи,
в наши кухни и спальни. Мы те, кто безмерно живые,
нас не сломят, ни в спину проклятия, что ножевые.

Ибо деды у нас воевали. И мы словно с ними!

Вот солдатик молоденький. Мальчик совсем он, мальчиш-
ка,

а вот девушка – милая, славная, столик и книжка.

А вот женщина и вот старик – было время.

Их убили фашисты. Фашистам не будет прощенья!

Никогда не помирятся. Мы вам не братья, не братья.

У фашистов одно есть названье: низвергнутый в ад он.

И не надо из ада его возрождать, о, не надо.

И не надо ни с кем примирять. И ни с тьмой, ни со светом, вглубь планеты его иль совсем позамимо планеты.

...Как же редко я в церковь хожу. А сегодня пойду я.

И за деда свечу я поставлю. Ах, дед мой, Артемий!

Он убит в сорок третьем. С мальчишкой, старухой со всеми.

Как же я помолюсь за него, в пол воздета!

И сквозь слёзы, шепча так неистово:

– Дедушка! Деда...

(дед погиб в Калининской области, д. Демидово 24 декабря 1943 г)

Мой дед мне, словно помогает оттуда, словно подталкивает: скажи! И вы меня поймёте: есть такие случаи, когда пытаются оправдать фашистов... Верю, если сейчас не заступиться за наших дедов и отцов, прошедших ВОВ, то потом будет поздно. Поколение растёт иное. Особенно, родившиеся в 90-е годы. Они отличаются даже от тех, кто родился в 80-е. Знаю, ибо у меня дети – такие!

И ПОКА Я ДЫШУ, ПИШУ ТАК, КАК ВЕЛИТ СЕРДЦЕ, ТО НИКОГДА НЕ УСПОКОЮСЬ! БУДУ СРАЖАТЬСЯ! БОРОТЬСЯ! (Я ПОМНЮ!)

И отвечает мне жена фронтовика Зоя Матвеева:

Светлана, как сильно, чётко, твёрдо, своевремененно и необходимо ваше сердечное высказывание. Это просто крик души, высокохудожественное обращение и к молодым и пожи-

лым. Но многие не могут так сказать, многим безразлично. А кто-то даже радуется, тому, что плохо. Другие просто бо-
ятся последствий.

Спасибо Вам.

О, услышь меня, услышь каждый – ибо то, что коснулось
меня, в любую минуту может коснуться вас. Вашего деда. Не
дадим замарывать историю. Не позволим ровнять захватчи-
ков, принёсших гибель на нашу землю с теми, кто освобож-
дал её.

А ведь есть такие люди. И как им не быть?

Но мы вовремя спохватились. За руку их схватили: не
трожь святое. Не ровняй.

Плохо то, что мы сами не правильно поняли свою исто-
рию. Сами погнались за «Хрущёвской оттепелью», за разоб-
лачением «культы личности», как впоследствии погнались за
призраками лихих девяностых, подумали, что вот она сво-
бода. Хватит нам красного, хотим независимого. И отстали
на два столетия по технологиям, по компьютерам, по авто-
прому. Итак, литераторы знают, что есть такой приём срав-
нений, но не напрямую, а окольно, опосредованно. Напри-
мер, вот напишу я такую фразу: «Гитлер и Сталин – оба бы-
ли незаурядными, читали книги, любили чистоту и порядок.
Чёткость! А уж что до искусства – оба были гурманы, тонкие
ценители сцены...» О, какой текст, скажете вы. Нет, отвечу я
– это плохой текст, это подстрекательство и обман, это вред.
Такого автора судить, взыскивать с него штраф, ибо опосре-

дованно, аллюзивно, он заставил читателя верить в то, что оба лидера одно и то же. Вот в чём скрытая чёрная пакость – показать в связи, сравнить несовместимое. Связать разнополярное. Юг с севером.

Фантазия автора может пойти дальше: может покуситься на высочайшее. На святейшее. Пляски на алтаре. Фотографии на фоне горящего храма. Жарка шашлыка на вечном огне.

И писатель должен остановить это безумие. Как Нижний Новгород спас Москву осенью 1612 года от польских интервентов.

Если мы думаем, что история не повторяется, то глубоко ошибаемся. Внутри уже идёт попытка интервенции...

И малиновый мой сон вырывается наружу, сгустком полыхает по улицам, обнимает восход, который тоже красен, смородинов.

И красные линии купаются в реках. И чудится мне, что Волга потеснилась и потекла рекой Москвой повдоль улиц моих. Моих золотисто-красных. Чудных, как сама правда! И верю я, что Иисус – нижегородец, что земля тогда вращалась скорее, и поэтому Мать Мария родила сына в овечьих яслях, находящихся прямо на Малиновой гряде Нижегородской области...

И правда моя красна да малинова...

В КРУГЕ ДОБРОДЕТЕЛИ МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ

«Из цикла: я ничего, мой друг, не забываю...»

– Вадим Валерьянович Кожинов, здравствуйте! – Он кивнул.

Здравствуйте, звучало бы казённо. Может, лучше, добрый вечер, Вадим Валерьянович? Или, какое счастье поздороваться с вами, или, даже ноги подкашиваются, как хочетсяжать вашу руку. И словно слёзы на глаза. Но на самом деле внутри у меня, будто всё светится, словно какой-то слой под кожей особой искрящейся плазмы появился.

Вадим Валерьянович поднялся на сцену. Это было в 2000 году, в феврале, под знаком водолея, вечером в ЦДЛ.

– Здравствуйте, Светлана.

Плазма засияла ещё ярче. Меня бросило в жар. Щёки заалели.

В фойе продавались книги. Кузнецова Ю. П., Куняева С. Ю., Кожинова В. В.

Вообще, Вадим Валерьянович – самая загадочная фигура в этом круге. Худощавый. В очках. Седовласый.

– Ой, здравствуйте!

Молодая, самоуверенная, нахальная. С плазмой под стучащимся сердцем, вырывающимся из рёбер. Лихие девяностые позади, нулевые годы рядом, и мы в них, как внутри большой штольни. В одном вареве и большие, и маленькие. Люблю писателей-пророков. Хочу, чтобы мне сказали, что будет с нами через десять, двадцать, тридцать лет. Хочу жить долго, чтобы состариться по-настоящему, до худых сторб-

ленных плеч, свисающей кожи, коричневых глубоких морщин. Чтобы наступила мудрость. Чтобы, как Фадеев предсказать, что к нам в Россию будут посланы агенты влияния, чтобы как Леонов остаться в сказке перламутровой, чтобы как Юрий Бондарев отказаться от награды, чтобы понять пророчества сбылись.

Я их сама раскопала в трудах В.В. Кожина. Ой, да рудокопша, ой, да добывательница, ой, да этот самый сын!

«Огромное большинство написанных (и – тут уж ничего не поделаешь – еще не написанных, но долженствующих появиться на свет) стихотворений «не дотягивает» до искусства, прежде всего потому, что в них не создается художественная реальность, они не становятся творениями, а остаются зарифмованной речью, ритмизованным высказыванием, которое только внешне, благодаря своей, в сущности, искусственной ритмической оболочке, отличается от обыкновенного – пусть даже и интересного, умного, блестящего – письма, дневниковой заметки, рассуждения, публицистической статьи.»

В. В, КОЖИНОВ из книги «Как пишут стихи», которая была переиздана три раза, последний раз как раз двадцать лет тому назад.

У меня в руках букет февральских цветов, купленных на углу в киоске, возле метро Баррикадная. В голове ритм стихов: «Стены Плача, Стены Скорби, лабиринты – к ним кидаюсь я на грудь. Шершавый камень

мне царапает ладони. Криком крик я,
из груди сегодня извлекаю.

Каждый Плач утешить! Здравствуй! Здравствуй!

Из себя исторгла сотню плачей.

Как утешить Ярославну? Застят
слезы мне глаза, гортань! В палачеств
как мне всех своё раздать бы тело?

Как утешить плачем сотни плачей,
как вложить в уста его шедевра?

Смерть предателям! Истёрла все коленки.

Я не предала. Но встану к стенке.

Не лгала, не крала, не жильдила.

Пусть с крылами – всё равно бескрыла,
пусть с любовью – всё равно не любя.

Не чужие, а свои погубят.

Милый, милый.

Незабвенный – завтра же забудет!

...Сиротою лучшими людьми я,

сиротой к настенным я поэтам.

Возникают рвы, валы, кюветы.

Не стена растёт – лоботомия.

Рассечение мира. Больно. Бритвой.

Разрывают связи, связки, жилы.

Слышу крики: «на ножи, на вилы,
на ракеты, копья...»

Милый, милый...

Отчего опять сползу по стенке
и по всем, по этим Стенам Плача
по родным, безудержным, вселенским,
по бездонным, по бездомным, детским,
но в ответ –
не сдам ударом сдачу...»

Стихи не об этом, они о других днях, от других дней, до других дней. Но отчего-то сегодня отозвались проводом во мне оголённым.

Но надо что-то сказать по существу. По делу. Всё-таки литературная встреча. С писателем. Поэтому я поднимаюсь на сцену, дарю букет цветов. И молча ухожу. Именно молча, не разжав губ. Слово закатилось внутрь. Такое круглое, объёмное.

Часто размышляю над Сциллой. Вообще, по сути это цветок. Ярко-голубой, либо лиловый. Но на деле – Сцилла чудовище. Огромная шея, огонь из пасти. Харибда – водоворот трёхглавый. Вот так мне представляется жизнь человека пишущего, находящегося в своём круге добродетели, ибо даже критика – добродетель, хоть, бывает, и не лицеприятная. Вообще, приятной критики – мало, потому что конструктивная критика – она всегда между Сциллой и Харибдой. Но Кожинов по большей части – филолог. Раздумывающий о искусстве и литературе. Понимающий, что такое поэзия. Как факт. В своём труде – размышляющем, противопоставляющим настоящее искусство поддельному, Кожинов словно

странствовал между Сциллой и Харибдой. Сама я не пытаюсь преодолеть этот барьер, можно много поведать, но услышанным быть довелось лишь Вадиму Валерьяновичу.

Есть стихи, приближающиеся к искусству. Есть околоискусные стихи. А есть само – искусство. В чистом виде. Много Кожинов размышляет о Баратынском, Сумарокове. Пушкине. Вознесенском.

Многие говорят: ему легко, Кожин сам стихов не писал. Он их пел.

Может ли хороший критик быть одновременно поэтом? И как проза мешает поэту, как она выхолащивает из глубин вот то самое мягкое и розовое, что является сгустком для пророста зерна, из которого получится цветок. Как из колыбели семени вырастает тот самый человеческий вид стиха? Сцепление музыки, чувства, ритмо-рифмического набора.

Иногда думаю, а возможно ли по публицистической книге поставить спектакль? Например, по книге В. В. Кожина «Великая война России. Почему не победим русский народ?»

Думаю, что возможно, ибо это книга-песнь, книга-исток героизма. И как ружьё со стенки в первом акте звучит – русские сражаются за идею.

Много раз раздумывала, что есть такое – эта идея? Бескорыстная направленность, наполненная высочайшим смыслом.

Также у пишущих людей. Кто-то пишет и ждёт поощре-

ний. И получает их в виде грантов. А кто-то пишет – за идею! За вот это святое и высочайшее.

И как их отличить? Ибо и там и там рифма. И ритм. И тема.

«Внутренним оком» – разъясняет В. В. Кожинов. То есть душа должна быть зрячей.

Я много раз слушала лекции об импульсах мозга. О кровообращении. О ткани. О розовой горячей внутренней оболочке. И вообще, что там по ту сторону лба? Там – наше сокровенное, русское.

То, за что мы боремся. То, за что «жизнь свою не жалеем. Живота своего».

Искусственность и искусство понятия, хотя и однокоренные, но противоположные. Искусственность – это Харибда. И с нею сражается Одиссей.

Участие дара, по словам Кожинова, является основой. Но отчего вдруг происходит его исчезновение, словно потеря самого драгоценного, как будто мать младенца потеряла. И рыдает. Но слова – крошечные, незначительные. Так что же стоишь-то? Иди, ищи, вернись туда, где зачатие, где его начало. В тот день, как мать Мария, в ожидании чуда, в предвкушении радости.

И так далее по ходу пьесы. Думаю, так бы закончился первый акт «Круга добродетели», во втором акте всё просто: Встреча. Она же прощание. Прикосновения рук. Мгновение, и руки разъединяются. Но зачатие уже произошло. Мария

оплодотворена. Гладит живот своей мягкой женской рукой, ощущая токи жизни самой.

Я вышивала иконою тексты такие наивные, молитвословом, законом ли о благодати людской, ткань мастерила из шёлка я. Бязи да льны былинные, и получился – родился ты, сын мой, хороший такой. Если бы так всю галактику нежить, лелеять, вынашивать с красной строки бы вынянчивать, вить бы глазурную нить,

ибо причастна ко времени я атлантидному нашему, ибо причастна...да что уж там, люди мои, говорить? Вот я иду: заметелена ветрами, я вся зарёвана листьями красными, алыми, желтыми в розовый цвет. Этой рябиной оранжевой, этими чудными клёнами... Выносить мир бы мне! Выродить! Ночью закутывать в плед.

Также расписывать радугой, искрами, небом, иконами, словом благим Златоустовым, Ветхим заветом, поклонами

в церкви старушек. О, помню я лица, платочки их скромные,

спины, ключицы. Мир помню я весь! Весь до корня! Видения. Крёстный весь ход его, странствия!

Время, колодцы и Волгу всю ту, что до грозного Каспия. Словно бы я его вырыла, словно бы дно его меряла

в нежных ракушках, в скелетиках рыб цветом сна. Время застило

веки мне глаз, так я видела лучше, безмерней, уверенней.

Право, но ты был, мой Господи, ты был всегда в сердце, в семечке,

в ядрышках этого семечки, в самой далёкой молекуле, был до распада. Был в Йемене,

в Древней Руси и Аравии. Вот бы мне также лежать семечком этим – земля бы вся спину мне грела, огромная!

Вырасту деревом. Помню я, как мне рожать Божьих чад!

И вот словно смотрю из зала, вжавшись в кресло, смотрю, смотрю, чтобы запомнить, вникнуть, понять.

Публицистика – это тоже вещь художественная. С прологом, С конфликтом, с его завязкой. И обязательно с ружьём.

Вот пишу и уже вижу спектакль по книгам В. В. Кожина. Это словно купить билет на корабль по имени «Атлантида». В самый лучший ряд. И вот они – атланты наши! И слушать, видеть, созерцать пророчества.

И понимать, что Атлантида – это область исчезающая.

Уходящая ко дну.

Но у неё есть свойство – оставаться воспоминанием. Лебединой песней.

Сценой, наполненной высотой.

Рынок писательский густо перенаселён.

Избыточен.

Где столько взять читателей? И любят ли писатели друг друга. Кто они друг другу? Поэт поэту кто?

Обычно

хороший художник – плохой поэт,

хороший поэт, но плохой художник!

По горло быть в звуках, которых нет,

по локоть быть в красках, разбавленных ложью!

По песню быть в смерти. Спасая. Зову.

Сама над мостом распластав своё тело,

над раною вечной! Я, как тетиву

на лук нанизала. Я так отболела,

когда поняла, нет ни сердцем, каков!

И нет, ни умом, позвоночником, костью!

Я кровь выжимала из черновиков,

из фраз, что свисали рябиновой гроздью!

Никто не внимал мне Галлеевой мглой:

вы те, кто не будут отлиты в граните!

Хотя б не давите.

Хотя б не топите.

А, впрочем, я – тело над раной живой.

Поэту поэт – это сладкая боль.

Поэты – соперники каждый друг другу!

Я так вам сочувствую, сыплющим соль

на кровь аномалий в шмон, гомон, в юдоль.
Художник художнику – вырвать бы руку –
как Моцарт к Сальери по паре за штуку,
вот так музыканту другой музыкант
причастен! И спорить не надо со мной,
я жизнь прожила, свой лелея талант,
а надо мне было: себя, что гадюку
за шею душить! Позвоночник спинной
наполнить какой-нибудь силой иной –
портняжной, скорняжной, охотничьей, млечной,
и жить было б проще. Дышать было б легче!
И вырвать бы глотку, зарыть под сараем.
Молюсь: не писать! Я смогу!
Не смогла я...

Итак, я молодая, тридцатитрёхлетняя. Милена с мужем
пришли на мою литературную встречу. Я думала, что иск-
ренне! Поддержать. Я как раз собиралась поступать учить-
ся в литинститут. Но нет, у Милены цель была иная: провер-
ить, точнее доказать себе, что я – ещё слаба. Да, я ещё была
тогда в пути. Я искала свою дорогу. Только свою. И я много
плутала. Шла по кривой. Мой голос ещё не окреп. То и дело
в него втекали какие-то не свойственные мне мотивы. Ноты.
Клавиши сбивались. Струны дёргались. Флейта морщилась.
Горло её казалось простуженным. Это была детская ангина.
Кто-то подражает Блоку, кто-то Есенину, кто-то Бродскому

– это нормально на первоначальном этапе. И дело тут не в возрасте. У кого-то получается сразу найти своё. У меня не сразу. Право, я много плутала.

Тогда я работала на заводе.

Растила детей.

Точнее, растили с моим Санычем вместе. Это было как раз в девяностые годы.

Я совершенно понимаю её – мою Бла-бла!

Позже, когда я окрепла. Нашла себя. Нащупала свою золотоносную нить, то поняла: мне подражают другие поэтессы. Я находила свои строки, мысли, смыслы, свои золотые искры у них. Они отсвечивали! Они отсвечивали так же, как я когда-то! Так что теперь мне их хулить? Портить им жизнь? Поганить их строки?

Конечно, это меня не оправдывает. Это говорит о моей глупости. Да, я была глупа. Ошибалась. Поворачивала не туда. Не задумывалась. Не обращала внимания. Я просто также чувствовала и всё тут. И я плакала, слёзы наворачивались, это было невероятно высокое чувство. Но я была под спудом снега. Меня надо было извлечь! Спасти! Выковырять из лавины.

Прошло уже тридцать лет. Здравствуй, моя Бла! Давай обнимемся! Я же обнимаю их (Яну, Лёву, Олега, Данила, Люду)! А ведь они все произошли от меня. Из моих строк выросли! Читай!

Смотрю, а у Милены губы дрожат, щёки дёргаются, ли-

цо бледнеет. А позади её Гиви стоит. Умопомрачительный! Запах хорошего табака и одеколona смешивается с моим ванильным. Голова кружится. Гиви, Гиви! Ты всё-таки Иван!

И вдруг сбывается сон моей Бла-бла, Гиви улыбается, наклоняет голову, выходит из-за стойки бара. Наливает коньяк, кантри, раскладывает лимонные дольки, ещё лимонад, сок, конфеты, мясо, бобы, что-то золотистое в соусе. Сама не понимаю, как я тут оказалась. Милена смеётся, аж визжит. Мы с ней едим из одной тарелки картошку. Она выходит на сцену, топчется, личико её алеет, сначала щёки розовеют, потом лоб, затем всё лицо прямо-таки алая заря. Миленочка, я простила всех, кто мне подражает! Помнишь, «Музу и художник» мою? Так вот я простила подражателей моих. Пусть. И ещё... ещё... Но Гиви, как сладкоголосая горгонушка что-то шепчет мне в ухо. Дыхание горячее. Сердце его колотится, вот-вот рубаху порвёт, выскочит. Ладони горячие по моим бёдрам ёрзают, я танцую, я кружусь. Потом мы пошли на берег Волги, я босыми ногами по песку иду. Гиви несёт тяжёлую сумку с книгами. А где ты? Отстала? Догоняй, сердечная! Разводим костёр из веток на берегу. Солнце село, облака лёгкие, как перья. Я снова танцую. Руки, голова, грудь, дыхание... это Гиви. Он мычит от счастья. Он не верит, что я рядом. А я говорю: замуж вышла, мужу не изменяю. Просто кокетничаю. Просто от лёгкости. От воздушности. Гиви верит, поэтому плачет. Я отталкиваю его. А он опять спрашивает, зачем? Что, зачем? Что значит, зачем? Замуж зачем?

Почему не моя? Потому что мне уже сорок пять. И у меня скоро внуки появятся. А ты всё ждёшь! А Гиви мотает головой, пробует поцеловать меня, губы тоже горячие, как Африка. Нет, как две Африки. Семь Африк. Он гладит нежно мой живот. А я так серьёзно говорю:

– Меня Бла-бла хочет убить.

– Что? – рот Гиви вытягивается

– В книге. Не в жизни. Она так и написала, что я вроде бы в госпитале лежу. Возле меня мальчишки больные, старухи полуживые. Бомжи в волдырях. Словно вирус какой-то. И вот меня тоже прихватило. А она пришла и сидит возле. Я исповедываюсь: прошу прощения, слёзы лью. Прости, что платки-калоши-валенки-чабрецы-бубенцы узнала. За руку её хватаю. Молюсь. Рубашка моя вся в крови. Отхожу уже. Зверь меня грызёт. Волк. Сначала меня имеет, любит, ласкает. Прелюбодейничает. А потом хватъ – и в горло вцепляется.

– Она что, дура? – Гиви вскакивает. Возносит руки к небу.

– Но сначала мы с тобой в койку ложимся. Саперави пьём. А оно кислое на вкус. И ты мне бусы даришь. И камень драгоценный. Сапфиры-яхонты. Руки целуешь. Ноги. Всю-всю. Особенно вот тут!

Я показываю на живот, приподнимаю юбку, а там – холодная синяя жилка, где ляжка, это у меня от родов после второго ребёнка варикозное.

– Затем мы опрокидываем поднос... еда разлетается... ты

меня за талию хватаешь. И как волк хочешь разодрать на куски. И ещё это... травку курим...

– Точно дура! – сплюнул Гиви.

– И ты ещё меня языком всю лижешь. Шею. Ключицы, лопатки, колени. И крылья мои отчего-то разъезжаются в стороны, тело разметалось, ты его раздвигаешь всё. И...

– Не надо, не хочу это слышать! Это разврат! Бла-блаха шизофреничка! У неё биполярка! Мания! Её надо лечить. Это грех! Замужнюю даму я никогда не трону. Пальцем не прикоснусь, тем более языком.

Так я станцевала эту сцену. Так я сбацала Волгу. Берег. Костёр. Босыми ногами по песку сбацала. Сбацала свои стихи. Своё сокровенное. Своё кровное. Я сыграла свою кровь. Я сыграла своё сердце. Я пяткой придавила свои артерии и станцевала их. Я коленом наступила на своё горло и станцевала горло. Я сожгла свои первые стихи в костре, который развёл Гиви. Это был целый чемодан книг. И чемодан я тоже сожгла. Из соцсетей удалила все ранние стихи, выбросила даже черновики. Вымыла руки, касающиеся этих книг. Сама ринулась в реку, чтобы смыть следы моих стихов. Ранних. Подражательных. Я их утопила. Я видела, как льётся их кровь прямо в реку.

– Закат! – сказал Гиви.

– Нет, это танцующая боль.

– Что ты хочешь, Света? Смерти? Вот кинжал! – Гиви резанул воздух острым лезвием.

– Нет! Ни в коем случае...я хочу, как раньше. Не надо вражды. Просто поговорить. По душам.

– Ты тоже дура! Откуда у Бла-блахи душа? У неё один секс на уме. И разврат. Мертвечина. Жадность. Деньги. Она хочет деньги.

– Не говори так, Гиви! Когда ты так говоришь, то мне кажется, ты – Иван.

Я запыхалась. Я всё станцевала. Я даже станцевала Милену и Гиви.

– Что ты чувствуешь ко мне?

– Я чувствую к тебе космос! Мир. Звёзды. Луну. Солнце. Океан. Любовь. Я занимаюсь любовью. Небом. Радостью. Я занимаюсь миром.

Мы тогда всё сожгли. Гиви дал обет: не касаться меня. Одно слово – я замужем, мне сорок пять лет, у меня двое детей, двое внуков, у меня дом, машина, дача. И озеро!

– Какое озеро?

– Спроси у Милены. Она пишет в книге, что у меня есть озеро и пять домов на его берегу. А ещё куча Джипов. Губы бантиком. На голове букли.

– Ой-ё-ёй. Э...э...э...

Гиви опустил голову. Сжал кулаки.

– Убью, суку!

Ну, точно Иван!

Когда Милена Бла опубликовала свои стихи в журна-

ле. Гиви написал ей отзыв: «Понимаю, что критика должна быть конструктивной, но решил сделать несколько замечаний: ну, очень много подражательства! Цветаевой. Пастернаку. "Возьми меня!.. ты, рикша Лю Су-чан." Далее последовало: «Завидую Вам, гость. А вот мой воспринимающий аппарат не настраивается на частоту излучения автора Милены Бла, близко, но не то. Потому и нет такого резонанса, как в отношении, например, Цветаевой. Что ж, поживём ещё, помудреем, какие наши годы...»

И ещё: "на жаркие страдные бабьи подмышки". У Милены Россия отчего-то представлена всегда как бедная, неразвитая, с тараканами, грязная, с плачущими детками. Все русские женщины то и дело продают себя. Воспеваётся немощь русских, убивших из-за недоразвития своего же царя ("Бал"). Бабы-халдушки, грязь да вонь, бараки... Ай, про нас ли это? А где же наша наука, покорение космоса, достижения наши? И все ли русские бедные? Косные? Поглядите вокруг, может, другую увидите страну?

И вот ещё: "Возьми меня!.. ты, рикша Лю Су-чан", "Есть опиум, гашиш и анаша", "Меня положишь в чан – И будет жир, и добрая уха" Ах, как много у Елены низменной страсти в стихах, берущей свое начало из области инферно. Тому, что в них обязательно встретится женщина, продающая "свой срам", и "зловонье и прах", уже не удивишься. Но вот людоедство... это что-то новенькое.

"России больше нет" и тут же "а есть одна любовь, Вста-

ющая над миром в полный рост" ... Увы и ах, без России нет любви в том самом смысле, в котором любовь "над миром в полный рост".

Упрёки посыпались в мой адрес: Ты, такая-сякая. Ты сама кто? И как зовут? Ты Никто и звать Никак! И ещё разная ку-ча: ты перелицевала, переняла, перефразировала, перепрыгнула, схватила зубами, присосалась, сэпигонрила. Вообще, мыслей у тебя ноль.

Вот что ответила я: «Милена! Господь с тобой! Я до компьютера лишь вчера добралась – в лесах была, дремучих. Мы же с тобой – приятельницы. Часто выступаем вместе, рядом! Ты мне в любую минуту можешь позвонить да и живём мы через пару кварталов друг от друга. Чего же меня камнями-то закидывать? Кроме меня некому что ли? А Екатерина Добровская, Стас Афонский – это тоже я что ли? Твои прямые враги (см. Ф.Б). Я, наоборот, тебя везде защищаю, от врагов отбиваю, стараюсь оградить, предупредить. Ну, так нельзя – грубо, цинично. Видно, кто-то очень хотел нас рассорить... Давай увидимся. Созвонимся! Ну, не надо мне так делать больно. После всех этих диалогов – хоть в церковь иди, отмывайся!»

Но иногда я думаю, что виновата! Да.

И за Гиви виновата. И за Стаса. И за Екатерину. И за себя.

Не надо было вообще реагировать. Пройти мимо. Действительно надеть маску. Сейчас можно. Тогда в четырнадцатом году нельзя. Сама Милена не видит своих недостат-

ков, думает, что идеально-гениально-универсально.

Но где же гениально-то? «Богородица сложила ручки, смотри прямо. Не мучай, не мучай...» Сразу скажу – сложила руки. Ручки – авторучки. «Вот безгласо кошу...» Это вообще никуда не годится. Косят лишь траву. Ляпов много. И восприятие критики – аховое. Сразу истерика.

ПОЭТОМУ мной написана статья:

«МЫ ПРОСПАЛИ АРМАГЕДДОН»

Сны, сны наши богатые, солнечные, странные. Что это? Работа мозга. Обман природы. Нечто армагеддонное? Запредельное?

Сны, усыпанные звёздами, их оранжевыми цветами, их мгновенными всполохами. Сны есть, а звезды давно погасли. Но они продолжают светить. И поэтому нам не погибельно. Ибо мы видим их исцеляющий, но давно погасший свет. То есть то, что погибло, но даёт исцеление. Армагеддон – это тоже гибель на высокой библейской вершине הַר מְגִדּוֹ хар Мегиддо!

Вижу, вижу, как люди взбираются на эту гору, целые города волокут за собой, дома свои, улицы, площади, машины, семьи. И детей-стариков. Вся жизнь – это движение ввысь в гору.

Литература – это тоже Армагеддон внутри себя. И спасается, и гибнет одновременно. И всходит, и рвётся в пучину. И видят это люди, и одновременно слепнут. И слышат, но

не разберут смыслов. И берут себе, и кидают сразу же – ибо горячо, обжигаяще.

Критика – это очищение. Это разговор начистоту. Ибо обросли мы ложью, лестью, подхалимством. Критикующий – одинок. Раскритикованный тоже. Но надо ди обижаться на критику? Как её воспринимать, соглашаться? Как отделить ангелов от демонов, как продолжать нести свои города туда же на гору Мегиддо? Когда тяжесть давит на плечи, камни на грудь, когда словно лежишь в глуби этой горы и давишься вмурованным плачем своим?

Не все умеют правильно воспринимать критику. Кто-то обижается смертной обидой и отталкивает критикующего. А ведь это всего-навсего правда, рвущая пределы. Когда уже невозможно молчать, ибо там наверху, на горе ожидают тебя для спасения. Критика очищает, снимает покровы, дает возможность родиться – в слезах, в боли. Потому что армагеддон это не только смерть, но и жизнь новая, которая следует за спасением. Сама критиковала – сама раскритикована. Но моё эстетическое чувство страдает, если я не выскажу правду, утаю, промолчу. Мне становится армагеддоно, мне становится погибельно. И я понимаю тех людей, кого покритиковали. Ибо человек, работающий со словом, обижается именно на слова. И это старо, как мир. И вся наша отечественная литература сплошная война, то там, то тут летят снаряды, каждому снаряду – по городу, каждой мине – по человеку. Беспощадно. Горько. Вынужденно.

Зато правдиво. Сколько можно спастись ложью? И всякий ли критикующий – враг твой?

Но давайте про четырёх всадников апокалипсиса. И когда эти всадники примчатся? То ли это суперкомета, сжигающая нас, либо супернаводнение, либо смертельная эпидемия, либо люди сами себя погубят при помощи третьей мировой войны. Как отгородиться, очиститься? Как сплести панцирь? Как сохранить, сберечь сокровенное? Как уметь не копить обиды? И, наоборот, пойти и расцеловать критикующего в щёки румяные?

Полезнее – расцеловать.

Меня часто и много критикуют. Не успеваю уворачиваться. Поэтому иду и варю варенье. Злобному критику – яблочное, умеренному – сливового, не приемлющему – вишнёвого, ненавидящему – смородинового. Одна женщина, колеблющаяся между да и нет, написала мне, что хочет грушевого. Хорошо, пошла я и посадила саженец белой, сочной, дивноцветущей груши. Будет расти пять лет, а варенье появится нескоро – лет через семь. Жди! Жди моя хорошая! А пока возделываю терновник, чёрную рябину, акацию розовую, где каждый цветок – пятистворчатый. Кстати, варенье из роз тоже вкусное. Им угощу самых-самых не признающих меня. И мои произведения.

Многие считают, если критикует, значит завидует. И что «блаженны кроткие», ибо они спасутся. Но критиковать можно кротко, ненавязчиво, не напрямую, вскользь, то есть

критиковать, хваля, лишь намекая на некий диссонанс, но при этом вытягивая удачные строфы, вынимая блестящие метафоры, неся в ладонях истинно прекрасное, даже если его всего с горстку. С зёрнышко. С семечко. Авось, прорастёт сквозь гранитные камни города, сквозь костяную грудь.

А ещё, дабы не обижаться, не раздражать своей обидой, надо песню знать...

Наизусть её петь.

Если хочешь делиться на мир и войну – не делись!
Это так больно, когда в твоём теле созревшие раны
жаркими букетом цветут – роза, кашка, ирис.
Бьют барабаны!
Гуленьки-гули! Давай отмотаем в другой
век! Даже в эру другую, где звёзды в ладонях:
спамит Гомер. Спамят греки. И грезит приборой.
Троя – на месте! И мир ещё ветрено-сонен!
Всем эмигрантам не выдали виз. И Парис
жадный до нег, до жены самого Менелая,
где-то в бесчисленных дебрях провис и завис,
«Зевс» – это общество в пользу защиты трамвая...
О, наши войны Троянские! Голод, разруха, пожар!
Пахнете жаждой наживы вы, кровью и потом!
Мы не убиты ещё! Но поранены. Сед, млад и стар.
Свой – свояка. Брат – на брата. И скачут галопом!

Где этот горный и где этот чистый был свет?
Где эту тьму вы черпали из нор да из схронов разверстых?
Мы разделились. Кричал я, вопил я вам вслед:
– Целостным будь, монолитным!
В душе – Ахилесным.
Кто в слепоту раздробился. А кто в глухоту.
Сколько история раз упреждала, учила.
Не научила! Какой мармелад там
во рту?
С порохом злато. И деньги с проёмом тротила.
Что там за рифма: дышу-напишу-отомщу?
Что за слова: захотел-угорел-выстрел в спину?
Что там, в котле подавали, какую лапшу?
Вместе с обглоданной коркой кидали в пучину!
Ты за кого, о, Елена Троянская? Или же ты
тоже распалась на тронутых и продающих?
О, не твоё ли последнее тело впаялось в мосты,
Чесму проедешь – ты шёлком заверчена тушей?
Нет, не твоё! Там кочевница, гордая мгла.
Нет, не твоё! И слова там иные, молитвы.
Ты – это поле! И ты это небо взяла,
словно бы мужа. А после – разбилось корыто!
Всё сокрушилось! Разъялось!

.....

Особенно мне
жалко вот этого – в ноги паду я! – ребёнка!

Руки, как крылья тяну, что расшиты во льне!

И – ко груди! Ему холодно!

Лишь рубашонка,

ткани кусок на измазанном тельце золой.

Если украсть бы у всех матерей – нежность, ласки!

Слёзы! О, маленький! Ты – сквозь эпохи – постой!

Всё-таки рухнула Троя!

И стянуты, сорваны маски!

Сквозь все столетья, о, как мне прижать бы дитя?

Чтобы кормить, пеленать! Это – лучшая кража!

Ты – эгоист, злой Парис, ненавижу тебя,

в наше бы время ахейцы-отцы, с ними я же,

плюнув в лицо, отвернулись! Метатель копья –

ты в наше сердце попал, как подкупленный снайпер.

Вот она кровь. Вот война. Пала Троя моя

в стоны распятий!

А теперь выдох-вдох.

И снова в сон. А что в нём? Награды, конечно. Но немного. Чтобы не портить в себе творца.

Потому что апокалипсис и армагеддон – тоже неожиданный, непредвиденный подарок. Ибо не без Божеского свершается участия. И четыре всадника вдоль скрижалей, вдоль священных камней, вдоль светящихся занебесных рун.

То есть апокалипсису своя мера нужна. Всё-всё внутри

нас. Всё-все мы сами.

А теперь просыпаемся! Страхиваем остаток сна. И вдыхаем новый сладкий, речной запах бытия. Ибо спаслись от своих собственных внутренних Армагеддонов. И учимся прощать. Ибо вареньем всех угостили. А себе оставили – малинового с мятой и мёдом. И по чайной ложке, по глотку, запиная крепким чаем. Лечимся-лечимся от критикующих, начинаем любить их каждого по отдельности, затем всех сразу.

Ну, конечно, конечно, льстивые ближе, ласковый телёнок двух маток сосёт. Конечно, приятно слушать лишь сладкие речи. Но они бесполезны. Ибо варенье итак сладкое, и чай с сахаром. А тут ещё елей тебе в уши да медаль на грудь, да премию в кошелёк. И голова кругом. А местные газеты – твоё фото на первую страницу. Ты один такой! Но сон, золотой продолжается, длится, вытягивается.

А когда проснёшься: разбитое корыто. Трещина посередине – а в ней медали плавают. И за окном – миражи, остатки апокалипсиса. Пыль из-под копыт умчавшихся всадников.

На то и сон – золотой. Нескончаемый.

Одна правда – это остатки варенья в прозрачных, стеклянных, трёхлитровых банках. И как раз саженец груши зацвёл. В этом году урожай намечается. Варенья целый таз наварим. Уже и сахар свекольный в кадке припасён. И пчёлы роятся.

Сладкая ложь и горькая правда Что положить в чай? Какой ложкой? Чем приправить? А люди-то, люди видят – на

просвет, на солнце, сквозь стёкла – где истина, где нет её.

И глаза откроешь, а прямо на тебя – сквозь пространство синее, сквозь его горячую кровь – все четыре всадника мчатся.

Нет-нет, лучше ещё поспать. Прикрыв веки, опустив ресницы...

«Гиви, Гиви, ты всё-таки Иван»

Дочь я рожала в Горьком. А сына в Нижнем Новгороде.

1992 ГОД. ТОГДА Я НАПИСАЛА ПОЭМУ «РУСЛО
МЕЖДУНОЖЬЯ»

Поэма слабая. Неровная. Я её перепису, отредактирую позже. Но одно четверостишие упомяну здесь: «...тело, как молнией стёсано ножиком. Я лишь река, я лишь русло межножья. Вот разрожусь, отдвоюсь, стану мамой, Матерью стану всеобщей, вселенской. В жизнь воплощусь я сыновью. Коленки в тверди я словно упру. Так по-женски, так я по-бабьи кричу. Слышишь, Боже? Если ты слышишь, родись, мой хороший!»

Тема появления дитя, тема материнства открыта в начале двадцатого века. Марией Шкапской. Невероятной силы поэт. Её влияние велико и по сей день. Милая МиЛена Бла! Здравствуй! Нет, я не притягиваю. Объясняю.

Слово «первый», «первая» нужны для спортсмена. Для поэта эти слова лишние. Никогда не хотела стать первой.

Непервой. Даже правой. Лучше быть неправой. Это лучше. Ибо страдательно. Я не права. Ну, серьёзно. Меня качало то влево, то вправо. Рвало. Я становилась тощей, весила шестьдесят килограмм. Затем я разьедалась до восьмидесяти, затем снова худела.

Мы никогда не ездили на юг на машине. Всегда цивилизованно на самолёте летали. Жили в хороших пяти-звёздных отелях. С трёхразовым питанием. С мужем и детьми. Затем с мужем, детьми и внуками. Поэтому, Бла-бла, перейдём к правде. Ты пишешь, что по дороге на юг когда сын был за рулём, мы якобы с дочерью и внуком попали в аварию. У меня двое! И не трожь! Этого я не позволю. Хочешь меня распинать, четвертовать, на кол сажать, в тюрьму, в суд, на плаху. Их не трожь. Езжай в Мексику – правнуков нянчить! Румяных. Чумазных. Чернокожих. Хватит уже по кремниевой долине сына гонять, пора детей нянчить. Пеленать. Качать. Ночей не спать. Это восхитительнее! И это по-женски правильно. Ну, для чего-то тебе была дана твоя плоть. В чем её смысл? В продлении рода. А у тебя что-то зачахло дерево. Поэтому на меня, как на горшок ночной ходишь. Ну, там по маленькому и по большому. Ну, что за такая любовь-ненависть? Ненависть-любовь? Скоро седьмой десяток пойдёт! Старушки так себя не ведут. Они добрые! А мне-то, мне-то сколько годков? А ровно, как тебе! Я – обезьянка твоя!

И не срослись мы с тобой, не сроднились. Разные. Хотя обе дуры.

Ду-у-ры.

Давно бы помирились. Если бы голова работала. Не для себя помириться надо, для дела. Общего. Хватит в шашки играть! Как две бомжихи возле помойки дерёмся за стекло-тару. Ну, мимезис, да, согласна, что не мимесис. Но буква «з» и «с» пишется у Аристотеля одинаково, зигзагообразно. Поэтому хватит про эту «с-с-с». Все предьявы к нему, сердечному. Ошибок у меня – море-океан.. Не знаю, затмение что ли нашло. Южное затмение. У тебя так было?

А вот ещё вспомнила из «Русла», глянь: «Прости меня сынок, за недогляд,

ведь ты же знаешь: яблоко от яблоньки.

За растерзание страны, раздел, распад,
твоей страны, где ты родился маленький!

А пальцы –

мармеладные жучки,

и эти абрикосовые пяточки.

Прости меня, прости меня, прости,
я шью, вяжу, я вкручиваю лампочки.

Я всё сама! Лишь ты б зубрил, учил,

и чтоб не дрался в школе. Надо было

учить, чтоб дрался, чтоб вгрызался, сто причин
есть для того, мой золотой, мой милый.

Давай посмотрим Джармуша вдвоём,

«Цветы» посмотрим сломанные что ли.

Твой молодёжный сленг мне хуже штолен,

все эти спичи, вписки, на приколе
и вера в то, что все мы, все умрём.
Ты помнишь, я болела, как лет пять?
Как выкарабкивалась, как пила таблетки?
С кем ты тогда связался? Чем кричать,
каким мне горлом? Ох, уж эти детки...
И выжжено, и сколото оно
как яблоко от яблоньки, от ветки,
тебя не отпускать бы. Нет. Нет. Но
как оградить от жгучей той брюнетки?
...Тогда поэму написала я. Сожгла.
Но смысл таков: зачем из яйцеклетки
тебя я отпустила? Из тепла,
из дома, от квартиры, от кушетки.
Сейчас твержу одно: прости меня,
что расцепила руки, провожая,
не бросилась под ноги. Как чужая,
что не заплакала, стена и вина.
Домой вернувшись, плакала три дня.
Хватило б слёз: полить три урожая...»

Наверно, ты права, Милена Бла, у меня чувство было, словно действительно в аварию попала. Провалилась в неё. Все косточки целы, а больно. Даже воздух вокруг меня болел, любое движение причиняло страдания: утром просыпаться не хотелось, открывать глаза. Но я не имела права

расслабляться. У меня ребенок на руках был двухгодовалый внук, как раз так вышло, что у дочери дел невпроворот, зять привёз Илью на лето. Но получилось так, что Илюша жил потом полгода, потом ещё несколько месяцев. Потом ещё и ещё. И он – этот малыш: абрикосовые пяточки, мармеладные пальцы–кислячки – всё его существо заполонило моё время. И пространство. И мне было не до тебя, Бла. У тебя этого нет: такого материнского огромного и вселенского, скорее всего не чувства, а сама вселенная в меня втекла, вселилась, вытеснила все глупые женские обиды. Размолвки. Перетягивание каната. Соперничество. И прямо скажу: ревность-зависть, ну, не скрывай, отсюда все нарекания в мой адрес, подставы. Да и кого стесняться в наше-то время: лей грязь, сколько есть. Всю. Хотя, может, она лечебная, так и ладно. Деньги сэкономлю на грязелечение и прочие физио-процедуры.

Но зачем выдёргивать мои стихи, выковыривать их из текста, аж кровь из-под ногтей, затем переписывать их по-своему, чтобы посмешнее, втаптывать? Это называется вандализм.

Итак, кто эти вандалы и откуда они взялись? Отвечу: ниоткуда. Историки до сих пор спорят л их происхождении. «Вандалии», Ванды» – это лишь сходство в однокоренных словах. Ещё говорят, что от готов. И что они вышли из моря. Бла-бла, ты хочешь в море? Обратнo к своим? Сколько, вообще, моря в тебе? Соли?

Ну, какая такая прибавка от стихов? К чему, вообще, мне чужое? Вот сколько раз повторяла эту фразу: денег за стихи не дают, только грамотки и колокольчики. Я до наград вообще равнодушная. Ещё со школы. Не понимаю, что хорошего в подарках? Я их маленьким детям раздавала всегда. Вот как-то в церковь пошла, а возле ворот толпа грязных, неумытых мальцов кружится. Я всё отдала: сгущёнку, масло, икру. И в институте тоже также: девчонки просят доклад списать, или сочинение, или реферат, разве жалко? Нате!

А тут стихи брать чужие, якобы выдавать за свои да ещё деньги тратить, чтобы их издать.

Чушь собачья! Мне деньги нужны, чтобы детей кормить, а тратиться на издание книг я не жажду. Опять-таки бегать спонсоров искать, в очередь за премиями становиться? Мне уже далеко не «шешнадцать» и не «тлидцатьтли». Но я спорить не стану. Нравится так писать обо мне: бумаги много, затем можно её мелко порезать да помять и в нужник увезти в деревню, там рабочие живут, им сгодится. А ещё можно костёр разжигать.

Тогда я поняла: примирения не получится. Объясниться тоже. Попыталась подыграть Блахе, мол, память у меня такая хорошая, всё она виновата. Не помогло. Попробовала извиниться. Ещё хуже. Вообще, лучше было держаться подальше. Но вот если бы не «тятя, тятя наши сети притащили мертвеца», то было бы намного лучше.

Поэтому на сайте не выдержала и написала пару коммен-

тариев:

(без ненависти – у меня её нет), (без какого-то умысла – его нет тем более) «...Если бы на каждое замечание подавали в суд, то судьи бы вообще не выходили на перерыв, на обед, на ночь бы не уходили. Вообще, такие вопросы решаются за круглым столом и по-товарищески. Может, тогда лучше дуэль? И что за мужчины теперь пошли, что женщинам угрожают, но перед этим всячески опорочив, назвав, что Вы никто и вас никак. Кто таков Юрчайка уже выяснили, это сама госпожа. А вот Кашубин кто это? Это тот, вымученный из Челябинской области? И я его понимаю, что он заступается, но зачем при этом унижать других? Во-первых, никто ни на кого не нападает, просто есть имена объединяющие – Пушкин, Есенин, Баратынский. Есть люди широкой души. А есть имена разъединяющие, вносящие раскол. Вот если бы меня стали судить, то я лишь благодарна, невероятно, низкий поклон таким людям, они вообще не обязаны любить и воспринимать, они могу отторгать, так что их за это в судилище тащить? Распинать? Казнить? Мне, вообще, больно это видеть, но не о том печаль моя, о более глубинном и высочайшем – об искусстве. И как раствориться в нем? Всем существом, как из сердца выдрать этот леденящий комочек правды? Как объяснить, что есть настоящее и подлинное, а что есть подделка и пустота? Не для себя стараюсь – для грядущих. А премии что? И у Св. Алексиевич есть премия, у Луизы Глюк. Что с того? Кому лучше от этого. Давайте пояс-

ню, с чего вдруг люди стали высказываться. Читайте ниже пост «Слушайте, а хотите повеселиться? Недавно (в этом году) некто нервно написал (пусть это останется тайной), что мои стихи – распад и хаос, хаос и распад, ужас и бездарная невнятица. А еще некто все время сообщает мне, что я мертва – а точнее, давно уже умерла. Вот в таком окружении живу))» Эти намёки про Некто являются выпадом, совершенно необоснованным в сторону меня. Это клевета. Никакая «я» не участвует и не собиралась. Вообще, наоборот, задача у меня иная: заступиться, поддержать, сколько раз я заступалась? Сколько раз поддерживала? Приходила на концерты, собирала народ. Увозила на своей машине. Старалась. И вдруг – удар в спину – ты такая сякая, грязная, гадкая... Обидно и несправедливо. Но не в этом боль. Здесь И СЕЙ-ЧАС БЫЛ РАЗБОР ПО СУТИ. Или вы не читали поправок к конституции о фашизме, нацизме? Но никто не опускается до того, чтобы писать заявление в суд, а наоборот, советуют честно и объективно. И ничего бы не случилось с госпожой, если бы она просто ответила людям. Снизошла так сказать до нас, низких и гадких, бездарных, графоманов, бестолочей, до Никто и Никак. Хорошо, если Вам так надо, а то суда боюсь, аки огня – ужас, как гениально, отвратительно велико. Теперь легче? Слаще? Но правда-то иная, она в том, что дар – не резиновый. Он не растягивается. Наоборот, налицо – потеря дара. Как ребенка, как самое нужное, как нечто драгоценное, что не купишь и никакими премиями брешь не за-

шьёшь, не заштопаешь. Небо, молю, чтобы всё наладилось, чтобы вернулось утраченное. До горьких слёз. А Вам всем, защищающим, много всего и множество, чтобы множилось. Не повторяйте ошибок чужих. Не бегайте за премиями и за славой. Всё это лишь пустота. Пустота пустот. И простите, если кому было неуютно. И если кого обидела.»

Но никакие увещевания по поводу «критика, что как птица, летит на острый шип, чтобы извлечь невероятную мелодию, от которой замирают сердца», никакие слова, ничего не помогало.

Милена Бла твердила одно: что ей завидуют, подражают, у неё списывают, её не понимают, она первая, а все иные лишь стремятся занять священное царское ложе.

И эта книга... странная, совершенно пустая, с какими-то волками, лешими-оборотнями, авантюристами, солдатами вповалку, с якобы моими телодвижениями, каким-то развратом и тасканием по притонам... даже не пойму, что это? Впадины, низины, болото, провалы в мозгу? Это была не я. Не моя жизнь. Лишь мои исковерканные, вымаранные, искровавленные лоскутья стихов. Они беспомощно повисли на голых строчках, на колючках, на терновнике речей Милены. Строчки, вырванные из текста, выгвозденные, измочаленные, обрубки их ручек-ножек, голые пятки, жилы выдранные, как недовешенные эмбрионы в формалине.

Наверно, можно было обратиться в суд. Но мне жалко было эту женщину. Что-то невообразимо больное, что-то горь-

кое, как желчь, выливалось из её проваленного рта. Зубы были с червоточинами, передний желтоватый осколок качался.

Подходить, спрашивать бесполезно.

Я её увидела с мужем и прошла мимо.

А тут как-то не выдержала и подсела к ней. Спросила что-то... мол, Милена, ты людей, вообще, любишь? Она ответила, что да. Затем начала говорить про редактора, что он развратник и любит женские тела. Я хотела перевести разговор про примирение, замирение, замалчивание, про топор войны, зарытый, про тропу войны, не заминированную. Я говорила скороговоркой, чтобы побыстрее, чтобы уложиться в несколько значительных фраз. Но она в книге написала: Эта-света целовала мне руки. Хватала каждый палец...

Нет, не целовала. Не хватала. Не думала даже об этом. И про любовь спросила не про лесбийскую. А про обычную литературную. Ни какую иную...

Самая смешная сцена в книге: мой приезд к ней домой. Как я якобы пробиралась по шаткой лестнице, и как скрипели деревянные половицы, как я проваливалась в зеркало, как входила во тьму. Затем вернулась из преисподней. И ещё попала в хоспис, и там снова целовала руки Милене. Так я скорее губы вырву, нежели буду лобызать чужие потные ладошки. Да ещё женские! У меня есть иные дела поважнее: семья! Дети! Муж Саныч! Но в книге я лобызаю и лобызаю. Тьфу ты!

Я сплюнула. Вот прямо сейчас.

И ещё раз тьфу! И трижды тьфу!

ПРАВДА, ПРАВДУШКА МОЯ

В литературный кружок на Автозаводе привёл меня Иван Борькин. Это было в конце восьмидесятых прошлого столетия: «Да, я из прошлого, двадцатого я века...»

Никогда не говорила о себе в соцсетях: «Я вкальваю день и ночь». «Тружусь не покладая рук». «Надо закончить повесть, чтобы успеть подать на премию»

Труд писателя – это кайф. Сплошное высоковольтное удовольствие. Вечный блюз. Золоторудный экстаз. Это, как любовь. И это, когда ночью всякое такое сладострастное. Когда я понимаю, что получилось стихотворение – именно то, что я хотела. И меня вывело в космос, это, как зачатие дитя – внутри всё сочится, растёт, колыхается. В животе бабочки. Груд наливается. Соски набухают.

Не хочу спорить о Бла-бла, как о прозаике. Но вот о поэте я бы поспорила. Вообще, поэзия бывает разная. Каждый идёт своим путём. У кого-то сразу и много, с ранних пор и удачно. А вот есть развитие поступательное. Пошаговое. Но зато творчество не истончается, его слой не уменьшается. А есть такие, кто выплескивают всё и сразу. Милена Бла выплеснулась ещё лет тридцать-сорок тому назад. Вошла она ярко, густо, большими выпуклыми мазками, сочными ярмарочными красками. И вдруг – надлом. Что-то хрустнуло,

сломалось. И вот хребет творчества перебит, кровоснабжение потеряно. Позвоночник не сросся.

Меня тоже ломали. До боли. До ссадин. До ран. Но то ли я хорошо уворачивалась, то ли характер не такой злопаямный, то ли просто путь иной. Цель. Космос. И вообще я вспыльчивая, но отходчивая. Мне становится жалко человека. Ну, да, ну слабо, но ведь старался, тужился, пыжился. Вообще, у меня врагов нет. На работе я старалась ладить со всеми. В сообществе писателей тоже. Хотя там единства нет. Союз так вообще раздербанили. Были такие «дерьмократы», либерошня, соросичи. Они и сейчас сесть. Кишат кишмя. Я стараюсь не лайкать им в соцсетях, избегать общения. А если уж приспичит, начинаю бороться. Но они, как саранча напрыгивают, начинают меня покусывать. Приходится банить.

Итак, Ваня Борькин, Саша Высоцкий, Володя Махин. Поэты, и моя путёвка в литературу. Я всегда говорю, если стреляешь в меня, то стреляешь и в моих учителей, в моих родителей, в моих будущих детей. В мои свершения, ошибки, в мои плюсы, в мои горы и реки, в мои звезды. Океаны. Во всё! Брось ружьё! Иди с миром.

Зачем пишу сейчас? Да вот уж больно достали! И очиститься хочу. Меня Милена называет не иначе, как поэтицей, стихоплеткой, рифмозвучкой, а-ля-рус, платочницей, валенком, ватницей, лотошницей, домработницей, швеёй, булыжником в кармане, патлатой, рыжей, ведьмой, старухой драной, совковой, примитивом, в столбик слагаю-

щей, руки целующей, поганенькой, гнилушкой, говорящей лишь уменьшительно-ласкательно, фольклорной, уборщицей, недоптицей, перептицей, бздухой, наглотырящей, иудофилкой, каин-сестрой, антиавелицей, гвоздевой ухой, богатой-попой, коттеджной дрянью.

Но я иначе, я зову её: сестрёнка, девочка моя, рыба-карась, осётр голубого канала, розовый слон, кочка-почка, дочка Алёнушка – сестрица Иванушки, словно густера с Линды, золотко, лапушка, сердечко моё, Речка пересохшая – старица.

Да-да.

ПРО СТАРИЦУ

Вот это стихотворение:

Из-под корки одежд: ребра, плечи, лопатки,
ты – река пересохшая, мёртвая глина!
А была бурной, этакой аристократкой
до блестящих рыбёшек, ракушек ванильных!
Вырвав дёрн, над тобою свисали соцветья.
Выдрав небо, над волнами луны сияли.
Обезжизненным словом, обвисшим, что плети
не наплакать воды бирюзовой эмали!
Ни восторга рассветов. Ни боли закатов.
Обмелевшая, дурочка ты человечья!
А в тебя я ныряла, так было когда-то

до ожогов восторга!

До воплей увечья!

А теперь ничего – ни стихов, ни надрыва,
лишь сплетение игл да камней вереница.

Ладно, я! Мне не кинуться больше с обрыва.

Но как девице быть? Где же ей утопиться?

А как было! Как было! Как всё-таки было!

Я кровавый твой лёд от ресниц отдирала!

И в осоковых брызгах порезов остывших
твоих ядов выскрёбывала волчье жало!

Ах, ты старица! Ты постарела на вечность,
постарела на Каина, на поцелуи

всех Иуд и на вымерший путь этот млечный,
не волхвиться тебе, не вздывать больше струи!

Вот стою и не знаю: смеяться ли, плакать.

Или встать на колени и рвать, воя, косы?

Иль венки мне плести из левкоев и маков.

Не унять! Не обнять твои бывшие плёсы!

И в отчаянье деревце рвётся – убиться!

И в слезах горьких стебли ложатся под пилы!

Только чёрное солнце.

И чёрные птицы.

Ты себя же сама, исчерпавшись, убила!

И я грудь бросаюсь: возьми! Я – живая!

Всё бери мне не жалко. Унести сколько сможешь!

Вот как выглядит это – изгнание из рая,

а не так, как кричала ты: писарь, художник...

Ты иссохла уже, никуда не прорвёшься,

ты так вымерла вся: амнезийно, бесстрастно.

О, как царственно я позабыла истошно!

О, как ясно!

Разберём: о чем оно? О ком? Про иссохшую реку. На эти стихи обиделось полгорода поэтов. Каждый отчего-то подумал про себя. Что я это о нём. Или о ней. Право, даже не думала про них. Какой смысл писать про своих? Найдут. Догонят. Накостыляют. У нас даже пародистов не любят. Чураются их.

А уж что про критику говорить? Обидятся. Кушать не пустят на банкет. А вот потусить я люблю. Надену что поярче, и в путь. Вообще, я сама хорошо шью, вяжу, конструирую.

Фантазия богатая.

Так вот, Милена Бла эту мою Старицу тоже испоганила. Взяла и переписала на свой лад. Думает, что я обижусь. Глупо думает. Нелепо. Я не обиделась. Во-первых, стихи уже опубликованы в Москве. И на сайте. И в блоге. Везде.

Я считаю её своей самой первой почитательницей. Поклонницей. Ревнительницей. Радеющей за меня, аки за очи благие.

Блаженная...

пропою тебе...что бы без меня...куда ты без меня...вросла в меня ты сама...впиталась в меня...въелась...впая-

лась...вошла...внедрилась в мои вулканы горячие. В мои недра! И танцуем мы втроём: я, ты, Гиви! И подходим к бару, пьём! Всю ночь танцуем и пьём. Ноги сами выделяют кренделя. Гиви глаз с меня не сводит. А хочешь, Милена, Гиви подарю тебе? Сладкого! О...И завернула я его в пакет, скотчем обмотала и на стол тебе положила. А он крохотный стал, на ладони помещается. Ключ повернёшь, танцует, песни поёт. Игрушечный. Я такой в Испании купила сувенир. Бери, играй, тешься! Мы прямо руками хватаем жареную рыбу из котла, рвём кусками, зажёвываем хлебом мягким, солёным, с коркой золотой, запиваем вином. И я, вправду, не считаю твои стихи, Милена Бла, хорошими. Не восхищена. Не всхлипываю. Не умиляюсь.

Вот от этого ты злишься?

Ты хочешь, чтобы я, как раньше – умилялась? Поддакивала? Кланялась?

Нет. Детство кончилось. Юность тоже.

Гиви пританцовывал уже на ладони.

Гиви – это обезьянка. Коричневая. Рыжехвостая. Возьми её себе. Она твоя. Она целует твои руки теперь вместо меня. Лобызает твои следы. Пальцы ног. Подол юбки.

А хочешь, про шизофрению скажу? И вообще, что мы о ней знаем? Это невероятная болезнь. Это чудо. Все поэты шизофреники. Чем больше поражён мозг, тем ярче стихи. Но степень поражения должна знать пределы. Если она зашкаливает, то пипец! Стихи негодны для прочтения. Ибо это

заумь. Отрыв от земли, выход в открытый космос. Задышась и помираешь, как поэт. Поэтому надо уметь вовремя вернуться обратно. Успеть до рассвета. Иначе мозг кровотоцит, разбухает, выдает перламутровые перлы. И ты паришь, сияешь, восходишь. А почитать-то нечего. На бумаге лишь нелепые каракули. Додинозавровые. До первобытноплемённые.

Из цикла «ПЬЯНЫЕ КОРАБЛИ»

1.

Не бывает поэтов ни белых, ни чёрных,
не бывает поэтов слабых, никчёмных.

Есть лишь – поэт.

Или же – не поэт.

А остальных нет.

Развенчайте меня. Не войну объявляю.

Белый флаг кладу в руки. Бросаюсь к роялю.

Говорят, что поэты – всегда шизофреники,
алкоголики и обличители. Гении,
путешествующие в пространстве и времени,
словно птенчики.

2.

Байрон. Англия. Жёлтый туман над водою,
«Чайльд-Гарольд», словно нож над твоею бедою.

Два бокала вина. Кофе. Карты. Разлука.

И погибель в восстании, что против турков.

Раздвоение личности?

Сколько нас, тысячи?

Дорости до безумия! Вырвись, калеченый,
как на дыбе мужик: голова без предплечья.
Ибо боль вся внутри. Дыбой схвачен рассудок.
И увидишь молочное, млечное чудо
янтарями хрустящими. Литература –
это бой. И летит убивать пуля-дура.

3.

Это Бродский – последний поэт во вселенной:
Николай Чудотворец на пряжке военной.
Две недели в психушке в стенах Петербурга.
Все поэты, как крик на картине у Мунка.
Не хочу я работать. Хочу, чтобы деньги
просто так мне платили без всякой оценки,
без медалей и грамот – у Пушкина нет их.
У Есенина и Маяковского тоже.

Да плевать мне на премии, прении, вожжи!
На оценку моих современников! Пенки
всех архангельских труб! Изразцов на коленке!
Государство, плати по вселенской расценке:
морем бед,
морем слёз,
всем пожарищем сюрра.

Как же больно от слова мне: литература!

4.

Что тебе моё Слово в страстях, о, Галлея!

Разруби моё сердце, чтоб не было сердца!
Вот священник Владимир. Грешнее, святее,
но пока я вот здесь, но пока на земле я
чем мне греться?

Обжигающей болью от кардиограммы!
Её образ и почерк с приплеском пожарищ...
А поэт – он иная субстанция, манны –
ей товарищ!

5.
Все поэты, как дети. Обидчивы и жестоки.
Ради слова они человека карают!
И в проклятья сдвигаются. Ибо им створки
приоткрыты в иное. В межмирное. Краем
между Вакхом и Бахом в органы и оргии.
Я впадаю, безумная, в Миргород Гоголя,
в микрокосмосы Гашина, в тени бесстрашия.
Ибо «Красный цветок» про меня! В рукопашном я
пропадаю бою. Войны литературные,
что ветрянка, под сорок два с температурой.
Если словом по темечку, как арматурую
два водителя насмерть дерутся. Ажурными
их плетеньями трудно назвать! И коклюшками
вологодскими вряд ли, они – пампадурные.
И бездушные.

6.
Я к тебе всем восторгом Марины Цветаевой.

Ты ко мне, как Ахматова, пренебрежительно!
Виноватей я всех невиновных! Обхаяна!
Караванными лаями!

7.

Грех святых.

Сласть всех горестей.

Жажд близ питья.

Дорога безногих.

Правда вранья.

Стон битья!

Какая ж ты курва – литература,
война без победы. Небо без дна.

Ты – порно для взрослых. Где много гипюра.

Атласные простыни. Шуры-амуры.

Плоть обнажена. Беременна!

8.

Так вспори своё чрево.

Иди ты к знахарке. Сделай аборт.

Поэт аномален особенно первый.

Достоевского «Идиот».

9.

Но есть светлый момент. Например, Нобелевка,
от которой откажется Пастернак.

Или Пушкин, убитый Дантесом. Родина,
как же так?

Альфа-Центавра, где есть человечество,

там есть поэт – на тебя он похож,
голову класть чтоб на плаху вечности
да под нож!

Я – не поэт. Поэтесса. Мне проще.
Мне под топор всей берёзовой рощей.
Я уже делала так ради Слова.
Но моя роща взрастала бедово.
Это – Елабуга и Е. Благово,
родина та, что была кумачёва,
но на осколки рассыпалась силой.
Ими меня – на куски – распрямило.

ДАРЮ ТЕБЕ ПРАВДУ И ТОЛЬКО ПРАВДУ

Купила в магазине игрушку Илюше.

Времени было мало. Схватила первое, что попало на глаза. И скорее, скорее за руль. Я как раз разместила свою книгу на литресе. И увидела – есть продажи!

Поэтому деньги для покупки игрушки внуку у меня имелись. Я решила взглянуть: кто же купил книгу мою? И увидела всего одну фамилию: Милена Бла.

Кстати, я тоже решила сделать ей подарок и купила её книгу тоже там же. Получается, что мы купили книги друг у друга. Больше книг никто не покупал. Лишь она у меня. А я у неё.

Мы никому не нужны в этом мире. Ни я, ни она.

Лишь только маленький человечек, вот кому я нужна. Илюше!

– Привет, баб! – мой ребёнок прыгнул ко мне, обнял руками, обвил шею.

– Ты меня ждал?

– Да! А что ты купила?

– Да вот... какую-то игрушку. Она забавная. Заводится с пол-оборота.

Илюша развернул упаковку.

Из коробки выкатилась фигурка. Пушистая. Лохматая. Рыжий хвост. Внук нажал на кнопку. Фигурка запела. Запрыгала. Стала танцевать.

Это был Гиви.

Э...э...э...

ПРАВДА СНЕЖНАЯ

Всё. Я не дышу. Перестала. Родители не унимались, отец на коленях стоял, отбрасывая снег. Мама копала тоже, Времени было мало. Ещё, ну ещё. Старик был всех проворнее, он словно не устал, рыл и рыл снег. Один милиционер побежал за помощью. Второй помогал отцу. Ещё, ну ещё.

А вот и шапка моя. С помпоном. Рыжая, как пух Гиви. А вот лицо. Бледное. Белее снега. Скорее, скорее надо сделать искусственное дыхание. Отец прильнул к моему носу. Да нет надо в рот. Мама отпихнула отца и стала дуть мне в лицо,

в щёки. Она открыла мой рот и дыхла туда. Воздух был тёплым. От мамы пахло пирогом с капустой.

Затем докопались до моих плеч.

Затем достали ноги.

Кажется, я открыла глаза и увидела всю свою будущую жизнь. Друзей. Не друзей. Работу. Учёбу. Детей и Саныча. Саныч был лучше всех. Он отец моих детей и дед моих внуков.

– Снегурочка!

Я – снегурочка.

Отец вытянул меня из сугроба. Стал теревить меня.

– Ты как? Живая?

Я шире открыла глаза. Пошевелила руками. Ногами. И ринулась вниз к валуну. Мне хотелось понять: какой подарок мне приготовили родители.

– Куда ты? Куда?

Но было уже поздно. Я скатилась вниз по льду, ткнулась телом в камень-валун. Мне не было больно. Родители ринулись догонять.

В цветном пакете лежала игрушка. Заводная. Она хрипела
э...э...э...

Обратно мы шли медленно. Я здоровалась с каждым снеговиком. А их в парке было наклеплено больше десятка.

– Тебе понравилась игрушка? – спросила мама.

– Какая? – улыбнулась я.

– Да ну её... зря мы спрятали этот подарок за камнем.

Лучше бы отдали просто так! – отец подхватил меня на руки, посадил на плечи. Он был большой и сильный. На нём наде- та лохматая кроличья шапка и пальто с каракулевым ворот- ником. Мой отец – директор завода.

Когда мы пришли домой, папа разжѐг камин. Точнее печ- ку. Но мы её звали камином. Я нащупала в кармане заводную глупую игрушку. Она была причиной моих бед. Мама при- открыла створку камина. И пошла на кухню, готовить ужин. Я потихоньку подкралась к камину, огонь разгорелся, полы- хало жаром.

Я взяла в руки игрушку. Нелепый взгляд синих глаз. Ту- гие ресницы, приклеенные кое-как. Широкие, брежневские брови. Да это генсек! Это правитель. Это туземный гость! Да ещё танцует. И поѐт какие-то противные звуки, скрипу- чие. Я дернула Гиви за шнурок, торчащий из спины. Рань- ше игрушек в мальчиковом обличии было мало. В основном все куклы девочки-Маши. Одну из кукол я звала Таня. Вто- рая была Милена. Я их рассадила на диване перед иконой бабушкиной, такой старой, потрескавшейся. И сказала кук- лам: «Молитесь!» Все трое смотрели на меня пустыми нари- сованными глазами. И лишь Гиви хрипел э...э...э...

Затем я с размаху кинула Гиви в топку. Рыжий хвост по- лыхнул жгуче. Коричневая шерсть вздыбилась. Раздались слабые звуки: «Э...э...э...»

И смолкли.

Гиви отдал свою жизнь за меня.

Гиви, Гиви...ты всё-таки непоправимый, глупейший, не воплотившийся, небесный, сладкий, ванильный, самый родной, Гиви, ты – Иван.

И не спорь со мной.

Никто не спорь.

СТАТЬЯ В «ЛИТЕРАТУРНОЙ РОССИИ»

Писатель – это продукт общества, он часть его, он вышел из него, он предвестник его и прорицатель. Он то, что было, что есть и то, что будет с человечеством. Если честно, то писателя надо почитать, я бы вообще молилась на него, как на икону. Пишет себе, книги издаёт либо за свои собственные средства, либо спонсоров ищет. Ибо известно, что издательства сплошь коммерческие, пытающиеся выжать прибыль, выгодно продать тираж и нажиться на нём. Поэтому издаются книги, которые заранее обречены на продажу. Это рынок, увы, увы, как ни печально. Книги продаются на прилавках рядом с котлетами, трикотажем и носками. Рынок формирует писательский продукт. Писатель должен быть раскрученным, медийным, узнаваемым. И поэтому выгодно продаваемым.

И ощущения продажи всегда неприятны. Писатель, как богатырь на распутье: направо пойдёшь – в бульварную прессу угодишь, налево – детективы начнёшь сочинять газетным языком, прямо пойдёшь – никто тебя знать не будет, ибо пи-

шесть ты уникально, язык у тебя своеобразный. Но как книги твои продать, это же сколько надо денег в раскрутку вложить, да ты ещё потом сам по себе писать свои шедевры станешь? И никого слушаться не будешь. А-то и вовсе воспарить до седьмого неба. Подчиняться перестанешь. О, о, я знаю такие примеры, видела, ибо живу давненько. Но речь не обо мне:

Я – не поэт. Поэтесса. Мне проще.
Мне под топор всей берёзовой рощей.
Я уже делала так ради Слова.
Но выростала моя роща снова.

Для начала я бы хотела предложить вывести само понятие «писатель» с рынка, ибо страна наша пребывает в так называемой рыночной экономике. В нас вчипировано понятие «товар-деньги», а строить литературу на этом сомнительном, шатком, волчьем пространстве нельзя.

Писатель ярче и пронзительнее ощущает несправедливость, он чувствителен, раним. Писателя не всегда принимают и воспринимают люди, ибо тихий, мирный уклад обывателя не предполагает нечто нетривиальное, выходящее за рамки понимания. Писателю, вообще-то, можно многое: быть не таким, как все, продвигать свои идеи, если они о любви к родине, о процветании, если они не отвергают правду и не супротив закона. Писателю почётно идти сражать-

ся за Россию, отстаивать её интересы, идти под пули против бандеровцев на Донбассе. Писатель может влюбляться, выпивать, как сказано в статье В. Власова из Омска («ЛР», №21, 2020 г.), может не стричь ногтей, плохо, не модно одеваться, шастать по помойкам, ходить по улицам, продавая свои книги. Он может, как Ван Гог, страдать отитом отрезанного уха, артритом кистей безрукой Венеры, может быть поруганным, оболганным, непонятым, обвинённым в эпитонстве. Он может заблуждаться, врать, выходить за рамки, страдать, плакать, умирать, вешаться, стреляться, но он не имеет права терять свой дар.

Ибо потеря таланта – самое тяжёлое наказание для писателя.

Я видела таких. И вижу. И сокрушаюсь.

Мне ничего не страшно, никакие заклёвывания, царапания, покусывания, обвинения, зависть. Ибо потеря дара – как потеря дитя, которое ты пестовал, пеленал, целовал пальчики, переливал в него жизнь свою.

Ибо писатель – это часовой. Солдат. Охранник берёзовых лампадок. Грамоток. Текстов священных.

Без писателей, товарищи, нельзя. Это то, на чём держится наше сакральное. Наш генетический код, который пытаются переделать, оцифровать. Отредактировать грусть и нежность. Отъять. Без живого и цельного мы – андройды. Это, как запланированная любовь – и надо бы, но противно. Поэтому необходимо некоммерческих писателей охранять по-

особенному, ценить, беречь и оплачивать их труд. Конечно, существуют гранты, медали, премии, как поощрения, но они так малы и малочисленны, что их хватает всего на несколько десятков душ. Министерство заняться таким трудом не может (не хочет?), как и Союз писателей не может охватить необъятное. Ибо Союз разделён распрями, дльщимися ещё с лихих девяностых, искусственно разъят, разбит, подчас по группам, враждующим между собой. Этого хотели от нас наши власти? Наши заморские друзья, либералы? И никак, никак, сколько ни говорили, сколько ни писали, ни заседали, но воз и ныне там. А в результате всё тот же борющийся с ветряными мельницами Дон Кихот, тонущий в реке Чапаев, перевёрнутые с ног на голову истины. И статьи, статьи, порочащие высокое имя писателя.

Некоторые из пишущих, разочарованные и огорчённые событиями, уходили в себя, закрывались, отчуждались.

Но даже в таком случае писателю не пристало жаловаться, особенно в социальных сетях сетовать на судьбу горькую, на хлеб не сладкий, на чай без варенья. Всё равно неси своё имя гордо! Помни, что талант не иссяк, дар не выветрен, дух не сломлен. Ничего страшного, если пока ты поработаешь в школе, либо в библиотеке, либо в институте, да хоть дворником, уборщиком, истопником. У тебя есть главное – твой пронзительный голос, твоя щемящая стезя, твоё разверстое небо!

Нет, я не собираюсь танцевать румбу на похоронах, как и

ламбаду при бомбёжке, я могу предложить только свои усилия, свой голос, своё мнение и своё изболевшееся по родине сердце. Мы должны понимать, что писатели – это люди со своей судьбой. А судьбы бывают разные, как удачные, счастливые, так же безгранично, буднично горькие.

Приведу ещё один пример – в 2017 году наш нижегородский поэт, журналист, мой товарищ Игорь Грач погиб в Донецке 1 мая. Право, очень талантливым был, но не принятым в Союз писателей. Вот стихотворение, ему посвящённое:

...Я там в каждом доме горящем, в стволе абрикосовом,
пораненном пулей, но всё же цветущем отчаянно.
Когда же закончится эта война високосная?
Там люди! Живые! Они своей плотью там впаяны.
Как бросить свой дом? Свою землю? О, нет, не получится!
Театры и улицы, скверы, дороги и станции.
Я руки свои простираю – гляди, простираются
они через небо! Сквозь камни и топи зыбучие.
А там – люди лучшие. В шахтах шахтёры.
Там дети шахтёрские.
Станицы. Ты видел сады их цветущие, майские?
Глядит Богородица в храме очами раскосыми,
глядит так, как смотрят все Матери.
Как в «Слове» единственном, что «О полку» и не выгорит:
«усеяно» поле костями, улитое кровью.
Вот так прилетают грачи: Грач – фамилия Игоря,

убитого в центре Донецка. Доколе нам
засеивать поле собою? Как семенем, злаками,
собой, как пшеницей, собой, как цветами, как маками.
...Я, Игорь, не просто рыдала! Я выла. Я плакала
с отчаянья в Нижнем. Ужели тела наши лакомы
всем пулям, всем минам, разрывам, снарядам, атакам ли?
Геройская смерть... Отчего не признаться по правде нам,
и Крымской весной не пойти нам до батюшки-Киева?
И флаги чего ж не нести? Отчего не спивати нам?
Ужель осужденья боимся Америк? Чего, мол, «содияно»?
Куда же, мол, сунулись?
Ты поручила б, Россия нам,
я тоже бы кинулась в пекло! Поэту – поэтово.
По полю бы шла, где пшеница. Я столько налайкала
сердечками там, в интернете, забыла, однако, я,
как выглядит сердце моё, к небесам что воздетое!
Что болью задетое. Вбитое! Вместе спиваем мы...
Давайте же вспомним всех их – воевавших писателей:
Толстого, Дениса Давыдова и Полежаева,
Прилепин – не чай же он пил на Донбассе с приятелем!
...Я, как Магдалина, власами бы раны их гладила,
ещё подорожник прикладывала бы, сердечная!
Ещё бы на раны я дула.
Ещё бы я ладаном,
ещё бы я мёдом,
целила бы русскою речью...

И вот это целительство русской речью – и есть наиправейшее дело писателя.

Хотя его точка зрения может не всегда совпадать с общепринятой или даже, наоборот, писатель может идти против власти и мнения всего общества или его большинства. Так было с Юрием Бондаревым после девяностых. Перечитывала его книгу «Бермудский треугольник» и понимала, как прав был писатель, сказавший, что страна наша станет, как самолёт без аэродрома. Эта фраза была им озвучена почти тридцать лет тому назад. Что было далее, пересказывать не стану. Но насколько зряч и провидящ писатель! Насколько он громогласен! Мог бы и промолчать, ибо заласкан был вышестоящими, облюбован. Но нет, сказал-таки и остался последним солдатом на поле. Не сдавшимся и не продавшимся.

Похожая ситуация произошла с Владимиром Бушиным. Хлёсткий, критичный, я бы сказала язвительный. Чего только книга «Огонь против всех» одна стоила!

Александр Зиновьев с его «Глобальным человекоником»! Мой учитель в Лит. институте Юрий Кузнецов, с которым мне довелось общаться, который тоже был неординарным и превидающим.

Александр Сизов с его малоизвестным романом «Убийство в сезон мутаций или Предсказания Нострадамуса», писатель не сломленный, рано почивший из-за болезни.

Несомненно, труд писателя – велик и объёмен. И не все-

гда признанный. Не обласканный. Не Сталин же у нас в правителях нынче! Он бы прочёл наверняка. У меня создалось такое впечатление, что власть думает, словно уже всё сказано было, написано, нарисовано и новое не нужно. Поэтому, зачем деньги тратить на писателей? Книги издавать? Помещения редакций оплачивать? Ибо цифра нынче важнее. Интернет, коза его дери, существует!

Но я иногда думаю, например, если радость не оцифрована, как ею делиться?

Или сидит такой заправитель от минкульта, пишет смс-ку про нежность. А ему в ответ: «не оцифровано ваше чувство, сообщение не дошло до адресата». Вот тогда-то и нужен поэт с его стихами, ибо можно набрать сообщение: «том девятый, страница такая-то...», где есть «к священной жертве Аполлон».

И ещё я думаю, что каждый камень, брошенный в затылок писателю, имеет имя, отчество и фамилию. Если он, конечно, не от Гюльчатай, что из «Белого солнца пустыни». Но писатель всё выдюжит. Всё стерпит. Ибо он знает то ощущение, что ему приносит радость, ему разверзается космос и он питается его млечным соком.

...Дом, построенный мужем был в залоге. Я как раз уехала учиться на курсы при Литературном институте. Дочь Шурочку взяла с собой. Она поступила после окончания школы в институт в Подмосковье. Поэтому мы жили с ней в обще-

житии в одной комнате на улице Добролюбова в Москве.

Когда я вернулась из Москвы с красным дипломом об окончании учёбы, Саныч сказал: дом продаем, надо выплачивать долги. Квартира к этому времени тоже была продана и отдана за долги. Мы оказались на улице в полном смысле этого слова: муж, я, сын, кошка, собака. По правде сказать, я приехала из Москвы с долларами. В Москве я не только училась, но и работала, это был девяносто девятый год, я продавала свои книги, стоя на улице. Ой, какие только предложения я не получала от мужчин, проходящих мимо по Тверской. Там же случайно нос к носу мы столкнулись с Миленой Бла.

– Ой, привет! – улыбка в пол-лица, на ногах тапочки-шлёпки, на голове дачная панама. Эх, ты несуразная Блабла!

– Привет! – отозвалась я. – Ты зачем тут?

– Да вот приехали с мужем на выставку. Знаешь, этот знаменитый дом с мансардой на крыше? Приходи, вечером тусовка будет.

И тут я увидела мужа Милены. Не знаю, почему, но от него всегда пахло сыростью и собачьей едой. Мысленно я его величала Бульдогом: острый полу-лисичий профиль, тяжёлая выпирающая нижняя челюсть. Такой укусит, полтела съест. Бульдог маячил позади, улыбался, зубы блестели.

– Что принести на крышу из еды? – спросила я вежливо, понимая, что вопрос лишний: если нести, то мешок сухого

собачьего корма. Не хочу обижать Бульдога, но картины его покупались мало. Он брал деньги за преподавание художественному искусству. По пятьсот рублей за час. И ещё, рассказывали знающие люди, Бульдог спекулировал на мастерских. Да, хороша парочка – лиса Алиса и кот Базилио. Панамка чуть съехала в бок, лицо Милены казалось сморщенным. Но я к ней всегда хорошо относилась, и буду хорошо относиться. Мне не помешает никто и ничто. Даже раздор и её разбойничий характер. Я себя чувствовала Буратино, которого приглашают на Поле Чудес. В моём кармане трепыхались три золотых монетки. У меня, вообще, такой характер: я привлекаю к себе всё, что движется. Не хочу враждовать ни с кем, но люди отчего-то нахохливаются, собаки вздымают загривки, коты выпучивают глаза, мыши, бурундуки, ежи прибегают за семечками. Дети ко мне тянут свои руки. Мужчины влюбляются с первого взгляда. Мне всегда казалось, что моё предназначение – спасать, я и работала в организации «Помощь», то есть в отделе кадров инструктором по работе с глухонемыми.

Дом пришлось сдавать два года. Мой приезд из Москвы и мои долларыгодились. Я купила большую комнату в коммуналке с соседями. И мы переехали жить туда. Саныч похудел на сорок килограмм от переживаний. А я ему говорю: ну, что ты хотел, любимый? Это девяностый год, это такой бизнес по-русски. Выкарабкаемся. Мне тогда сильно повезло. Вот просто так, ни за что! Удалось продать участок

земли, на деньги, вырученные от сделки, мы купили квартиру возле Ярмарки в центре города.

Комнату я стал сдавать квартирантам. По правде сказать – это тоже труд! Это тебе не рифмы-ритмы-разборки с Миленой-тяготы-споры. Приходилось мыть полы, драить ванную, менять трубы, отскабливать кухонную плиту, которую соседи постоянно заливали подгоревшей едой. Кроме этого я устроилась сразу работать в нескольких фирмах помощницей администратора, повара, подсобной работницей, простой служкой. Около пяти лет я вытаскивала из долговой ямы Саныча. А тут ещё дети стали учиться плохо, пришлось платить за институты, за курсы, за хрен знает что.

Но долги были отданы. В свой дом мы вернулись через два года.

У меня часто спрашивают: чем я поступилась из-за любви к творчеству? Своим женским счастьем? Своим сердцем? Своей плотью? Чем, чем? Могла ли я быть более успешной? Могла ли найти более выгодного мужа? Могла ли я, вообще, зарыть свой талант в землю?

Могла ли? Могла?

Нет. Не смогла. Не получилось.

И не стремилась даже. Всё, что у меня есть – моё. Мне свойственное. Данное природой, судьбой, небом, солнцем, все, чем даётся человеку!

Милена, Миленуся, Милка, Миланя, густера моя ненаглядная с голубого канала, с яхонтового берега, с золотого

песка. Как мне забыть тебя? Как не простить все твои выходы? Как не усмехнуться над твоими варварскими поступками, как снисходительно и по-человечески не отмахнуться, ну летает и летает, ну пищит и пищит, укает, пукает: э...э...э...Вообще, иногда я думаю, что у Милены что-то с кишечником, наверно колики, либо много молока пьёт, либо мало кефира.

А вот что пью я? Чай! Немного кофе утром с молоком и сахаром. Воду кипяченую из скважины. Кстати, скважину прорубили мне хорошую на участке. Пей да пей.

А вот про вино ты, Миленушка, напрасно.

Хотя, давай выпьем, подружка! Эх!

Ркацителы – пьяный, нежный, виноградный, дивный. Виноград сначала долго уминают ногами. Пляшут! Давай спляшем нашу, красивую, благородную чечётку! Да по моим косточкам, дави их! Всем колхозом дави! Выноси наружу наши размолвки, пусть брызжут через край, на лица встревоженных и испуганных наших сотоварищей! Этот напиток пахнет лавандой, цитрусом, розой, мятой, травками чабреца. Яблоками, алычой. Грушей. Топчи меня. Пускай меня на вино. Эх!

Цинандали – горьковатый, сливовый, древесный. Цветы уже высушены. Персиковые косточки выгладаны. Яблоко огрызено. Но всё равно пляши! Вот уже и юбка вся твоя смочена, прилипает к ногам. Колени мерцают, хрустят мои косточки. То-то же! Эх, Этасвета, вся переломана, а ещё улы-

бается, ещё зубки скалит. Чур, её!

Тибаани – дразнящий, манящий, бархатистый, оранжевый, как закат. Пей, милая моя Милена! Глотай! Вот так до дна. До дна! Хорошо ли вино из меня, из моей пряной, пьяной крови? Дамский напиток! Самое известное вино в Грузии. Самое изысканное. Кровь моя менструальная, внутривенная, внутриматочная. Это хорошо, когда так кровит, значит, скоро оплодотворюсь! Детей нарожаю. Они такие розовые, круглые, животы мягкие. Целовать буду в попки, в спинки!

Эрети – ну о чём речь, Миленушка? Подружка моя! Дай руку, я хочу встать. Хочу подняться, увидеть, что там есть за краем чана, за краем земли моей! Что есть ещё кроме этой моей жизни? Растоптанной, затоптанной! Мягко ли тебе шагалось, Миленушка, по мне – мураве твоей? Не шибко ли кололась я? Не причинила ли боли какой. Страданья? Хорошо ли вилась твоя юбчонка деревенская? Не цеплялась ли она за колючки мои, шипиги? Ах, цеплялась...ну, так что? Переоденься! Хоть раз в жизни надень что-нибудь стоящее, модное, роскошное!

Мцване – высокогорный напиток. Мы сами туда взобрались на эту гору. Там самый сладкий виноград! Белый, как грудь молочницы. Спелый, как бёдра девственницы. Жаждающий, как грузинка перед зачатием. Ты этого хотела! На эту гору. Знаешь, как она называется? Она именуется, как Ты-илия. Ты или я. Двум нельзя. Одна должна улететь в про-

пасть, в поток в водоворот. Она может выжить, если умеет плавать. А может и утонуть. Итак, ныряй, Миленушка. Не бойся. Там внизу лишь белое сухое вино название которого соответствует названию сорта винограда. Всё по правилам. Название соответствует сорту. Мцване! Разбей лоб. И пусть мелкий сухой порошок костей вытекает наружу. Ссыхается. Мы его разбавим с тобой. Тебя мной. Мной тебя. И добавим свежую полевою родниковую воду. Только такую. Вино с водой. Особенно ценятся эти напитки за ярко выраженный сильный цветочно-фруктовый аромат, и ещё специальное брожение добавим кахетинское!

Тбилисури – не может быть первого в поэзии. Никогда. Либо ты, либо я. И пишется слитно Либотылибоя. Я не толкаю тебя. Просто дорожка узкая. Я, наоборот, тебя поддерживаю. Смотри, уже на одной ноге стою. Вторую ногу поджала, колено немеет. Кричу тебе в уши, потому что внизу поток крепчает. Усиливается. А... ты ещё премию успеваешь поучить. Последнюю. Больше не будет. Хватит уже. Тютчевская, Блоковская Цветаевская, Достоевского. Пожалей писателей! Они изнемогают. Им душно. Жарко. Они уже двести лет как померли. Кто-то сто лет тому назад. Кто-то восемьдесят. Держись за руку! Да не ори ты! Всё равно никто не слышит. Никто не покупает. Никто не ждёт.

Пиросмани – точнее все ждут. Когда вы помиритесь? Спрашивает Олег, Вова, Петя, Коля, Егор? А ещё Таня, Оля, Катя! И ещё хлещет по нашим венам белое полусухое вино,

Фрукты... сколько их? Яблоки. Груши. Вишня. Поэтому цвет у Пиросмани янтарный. Ты говоришь, что мне Гиви яхонт подарил. Не дарил он! Не посмел.

Твиши – тише... сказал Гиви и палец ко рту приложил. Не говори никому. Этасвета, что случилось? Какая кошка между вами пробежала. Только ли причина в детском давнишнем скандале? А ведь ты, Милена, знала! Знала! Ты всё знала! Я же тебе показывала эти два обгрызенных тобой стиха. Оплаканых. Отворенных. Отвоенных! Бери, беру уж, твоё, твоё! Я не покушалась. Мне не надо. Это лишнее. Своего некуда девать! Тем более вино течёт рекой из вен моих. Красное! Сладкое! Что? Что? Ты говоришь – это кровь. Много крови! И ещё себя вижу на столе. Точнее тело своё. Голое. Ты меня так уложила ровненько. Шея такая беззащитная, белая. Ты по ней пальцем водишь. Вены набухли мои. Жилки пульсируют. Я – жертва. Конечно, ну не ты же! Тем более, что везде кричишь, что бедная и несчастная. Что кушетка у тебя драная. Что мебель старая. И денег мало. А у меня же дом. Джип. Пять домов и озеро. А в нём лебеди плавают. Крестиком вышитые. Мне их мама сама нарисовала И сама вышила. Вот тебе и озеро! Абрикосовый закат.

Вино Киси изготавливают из винограда с таким же названием, оно эксклюзивно. Виноград Киси растёт на очень мглистом склоне, политом солнцем, на территории Грузии.

И вот нож в твоей руке. Ты голодна, ты хочешь сладкого и одновременно кислого, солёного, мясного, рыбного, травя-

ного. Ешь меня, Милена! По кусочку отщипывай и в рот пи-хай! Да не морщись! Вот ляжка, вот ягодица, вот грудь левая, она поболее правой, вот живот, кишки, жилы, лоно, мозг!

При слове мозг мне расхотелось пить вино. Я его выли-ла. Тропинка ближе к вершине расширялась, перерастала в площадку. Что ты тащишь сюда? Книгу! Про меня, небось? Про свою подружку! Ну, давай читать.

Но в книге не было страниц, лишь сплошное белое пятно. Оно сужалось, таяло.

Милена выхватила оставшийся листок, он выпорхнул, сделал круг, по-птичьи сложил крылья и ринулся вниз со скалы! Безумству храбрых поём мы песню. А лучше две! Нет, три! Или целую поэму! Поэму «русло междуножья»!

Да, ты знаешь, я умею творить!

Умею рисовать!

Умею не только складывать в столбик и рифмовать, я умею выдыхать такое огромное и масштабное, я как бог втя-гиваю через соломку людей с того света. На этот свет. Я же Этасвета!

Мне многие говорили, зная мою беду, если бы с нами та-кое произошло, то не понятно: как после такого жить?

Некоторые стихи мои испохаблены. Словно их заперли в туалете и долго над ними измывались. Так делают умственно отсталые мальчики: ловят одноклассницу, волокут в кабин-ку, там по-всякому трогают её, щупают. Они ещё глупы, не

знают, что тело девичье священо.

Но я простила Милене даже это. Не в суд же идти! Тем более за стихи даже тюрьма не положена. Лишь штраф. Небольшой.

Я просто любила этого человека. Тогда. Раньше. Мне казалось: это истинное. И это правда. Через всю книгу её – идёт рефреном – какая она гениальная. И она упивается своими строками. А они сухие, как хворост, тонкие, как палки. Коричневые, как ветки, которые обычно собирал Гиви для того, чтобы разжечь костёр. Бедный-бедный Гиви, его пришлось сжечь ещё тогда в детстве, я хотела помочь себе, чтобы не впасть в ненужную мне историю. Историю погромов моих строк. И теперь они разломаны, ноги-руки оторваны, голова в костре.

Хорошо ли тебе, девушка, хорошо ли тебе красная? Хорошо ли тебе, Миленушка?

Хорошо, отвечает! И снова ломает, волосы рвёт на голове. Орёт. Воет. Сидит у камина, ноги развела в стороны, сама, как кукла сломанная, э...э...э...

Вот не люблю я не правду! А она прилипла к моей правде. Правдушке. Жжётся, но не отлипает. И так густо налипла, как дёготь на ворота. Всю жизнь теперь отдирать, отскабливать. А жить-то когда? Саныч, хоть ты мне помоги! Он соглашается. Тем более, дом мы выкупили-таки, снова заехали-заселились. И всё уже! Старые! Саныч, ты больше в бизнес не лезь. Тебя друзья-товарищи липовые опять подставят!

Итак, литература – это любовь. Чистейшая. Тебя понукают, а ты любишь. Тебя подставляют, а ты идёшь. Тебя не приемлют, а ты в двери стучишься! Любовь же! Огромная! До небесных облаков!

Ни чё. Ни чё. Мне и на одной площадке узкой не тесно. Мне никто не мешает! Ибо литераторы, как опора нужны. Иначе, кто нас читать будет? Как не мы сами! Про читателей молчу! Это мифический образ. Древнегреческий.

Фигурка Гиви не сгорела, она лишь вся расплавилась. Клетчатые брюки расползлись на волокна, шляпа съехала на бок и превратилась в острый конус, само тело не растеклось, а спаялось, съёжившись в комок.

Мама выгребла золу из печки, отскоблила Гиви прилипшего, к поверхности металла, удивляясь, откуда вдруг появился липкий жалкий ком внутри. Она вымела золу в мусорное ведро. Ночью я подкралась на цыпочках, затаив дыхание, пробралась на кухню. Достала ведро, по-детски брезгливо морщась, взяла в руки оплавленный комочек. Он уже остыл, растёкся, немного расправился. Можно было разглядеть того, прежнего Гиви. В клетчатом костюме, бахвалистого, орущего свои песни, берегущего меня от всяких горестей.

Из него горстями вываливался пепел. Он падал и падал. Даже когда я попыталась смыть слой грязи, то пепел валил сам по себе. Так сгорело сердце Гиви.

Смешное сердце.

Сердце клоуна.

Сердце влюблённого мальчика.

Сердце сердец.

Вместе с ним выгорела планета по имени Милена. Она сначала долго чахла. Дулась. Напрягала ноздри. Дышала сипло. Кашляла.

Я много раз предлагала выкурить трубку мира. Чиркала спичкой. Клала душистый табак. Так-то я вообще не курю. Не курила. Даже в юности с мальчишками, балуюсь, за сараем. Они подначивали, ну, давай, давай, ты же такая же, как мы, горластая! Ты лазаешь по деревьям, ты прыгаешь по гаражам. Ты дерёшься и сражаешься. Ты бьёшь боль-н-о-о... Я умела, как мальчишки приколачивать гвозди. Умела метать диск. Гоняла мяч. По физкультуре у меня была всегда хорошая оценка. Как-то на спор я взяла высоту два метра. Один из одноклассников даже поспорил, что не перепрыгну, подошёл к учительнице, пожаловался, мол, Этасвета врёт!

– Да не вру я! Никогда не вру!

И я доказала, что умею прыгать. Класс даже замер, когда учительница строгим голосом позвала меня в центр спортивного зала. Я видела напряжённые лица ребят. Слышала их дыхание. Я разогналась и прыгнула. Дети захлопали в ладоши.

Учительницу звали Валентина Алексеевна. Она сама удивилась, как девятилетняя девочка хорошо натренирована

– Где это ты так? В секцию, что ли ходишь?

– Хожу! – гордо кивнула я. – А ещё с мальчишками во дворе

прыгаю.

Если бы я не писала стихов, я была бы хорошей спортсменкой. Конькобежкой. Ещё я хорошо стреляла в тире. И выигрывала в лотерею. Со мной на работе никто не состязался. Все знали: Этасвета победит. Я выиграла в годы перестройки утюг, пылесос, телевизор и пуховик. А затем я получила наследство. Мама и папа умерли в один день, как в клятве на верность. У меня осталось две сестры, Саныч, две детей, двое внуков. Кот. Собака, бурундук. И ещё вышитая мамой картина «Озеро» с утками и лебедями, с нарисованными пятью неказистыми домишками, закатом, лодкой посреди озера.

Милена, ты не соврала – у меня есть озеро! Вон оно на стене! Алое! Жаркое! Иди, поплавай, Окунись. Глову помой с её жирными, грязными давно невымытыми волосёшками. Эх, ныряй, золотце!

Оплавленный Гиви более ничего не говорил. Лишь однажды, когда я выловила в грязной луже книгу твою, он слабо мяукнул: э-э-э.

Гиви! Гиви! Потанцуем? Сбачаем нашу жизнь! Нашу высь. Нашу, разрывающую грудь, мелодию. Песню лебединую. Она ещё впереди! Поэтому жить нам долго. И главное счастливо. Главное не выловить бы ещё густеру из Линды. И не съесть её жирную, бьющуюся в ладонях, хватающую жабрами сухой воздух, трепыхающую хвостом.

Гиви, Гиви спой молча: «Эх, ты густера моя, сестра моя,

дочь моя, мать моя, земля моя, вода моя, песнь моя!» Плы-ви-плыви по высохшей реке твоей, по кочкам, по веткам, ле-ти, взмахивая плавниками, что крыльями сребристыми. А что делать?

Река-то иссохла!

Гиви снова и снова хватает меня за руки, Растёт, Мужает, Дотрагивается.

Гиви, Гиви, ты всё-таки Иван.

Иван, помнящий родство. Вяжущий родство. Придумыва-ющий родство. Находящий родство. И он просипел: Милена – твоя сестра! Близняшка твоя! Кровная!

И я взяла Милену за плечики. Встряхнула её так, что тря-пичная шея наклонилась, обмякла:

– Э...э...э...

И это были самые лучшие слова, какие я хотела услышать.

И я их услышала.

Это был гимн любви! Сестринской. Человеческой!

А мне более ничего не надо!

Лишь любовь.

Твоя.

Наша.

– Мир? – спросила я.

– Мир! – ответил Гиви.

Мир вам! всем! И мы снова, как в детстве, взявшись за руки, шли вместе.

Небесная сестра моя! Мы резали пальцы, и капли крови

наши сливались. Мы падали в травы и, кружась, сцепившись, летели с горы вниз кувырком. А там внизу под валуном лежал и грелся на солнышке Гиви, как ящерица юркий, верткий.

Милена – он брат наш! А с братьями не спят. Не занимаются любовью, не ложатся в койку, не снимают бельё. Не целуют их тело, грудь, живот. Не разрешают трогать колени, лоно. Не позволяют им входить во внутрь. И ты не трогай Гиви. Не ложись с ним. Не снимай своё тряпьево платишко. Не сбрасывай туфель. И главное панамку не сдёргивай с головы. Эту смешную ушастую, детскую. Ибо голова твоя седая, как у старухи. Тело сморщенное, как фасолевыми стручок. Напугаешь моего мальчика. Он итак уже расплавился весь по неосторожности.

Нет!

Нет!

Ответила мне Милена: сплю с кем хочу и когда хочу. Снимаю свои колготки, трусы, бельишко там кое-какое. И на шелковые простыни ложусь. На твои! На кушетку! На кровать.

Поэтому Я вырываю Гиви из рук Милены и пихаю его обратно в камин. Руки обжигаю до волдырей. Ладони обжигаю. Больно мне! Худо мне!

Гиви вспыхивает мгновенно. Он знает, что делать.

И это уже последний, отчаянный, вечный, прощающий и благостный огонь!

Прощай, Гиви! Он же Иван. Он же Гога. Он же Петя. Вася.
Слава. Миша. Олег. Варган.

Никаких прощальных стихов.

Лишь одно самое лучшее:

Э...Э...Э...